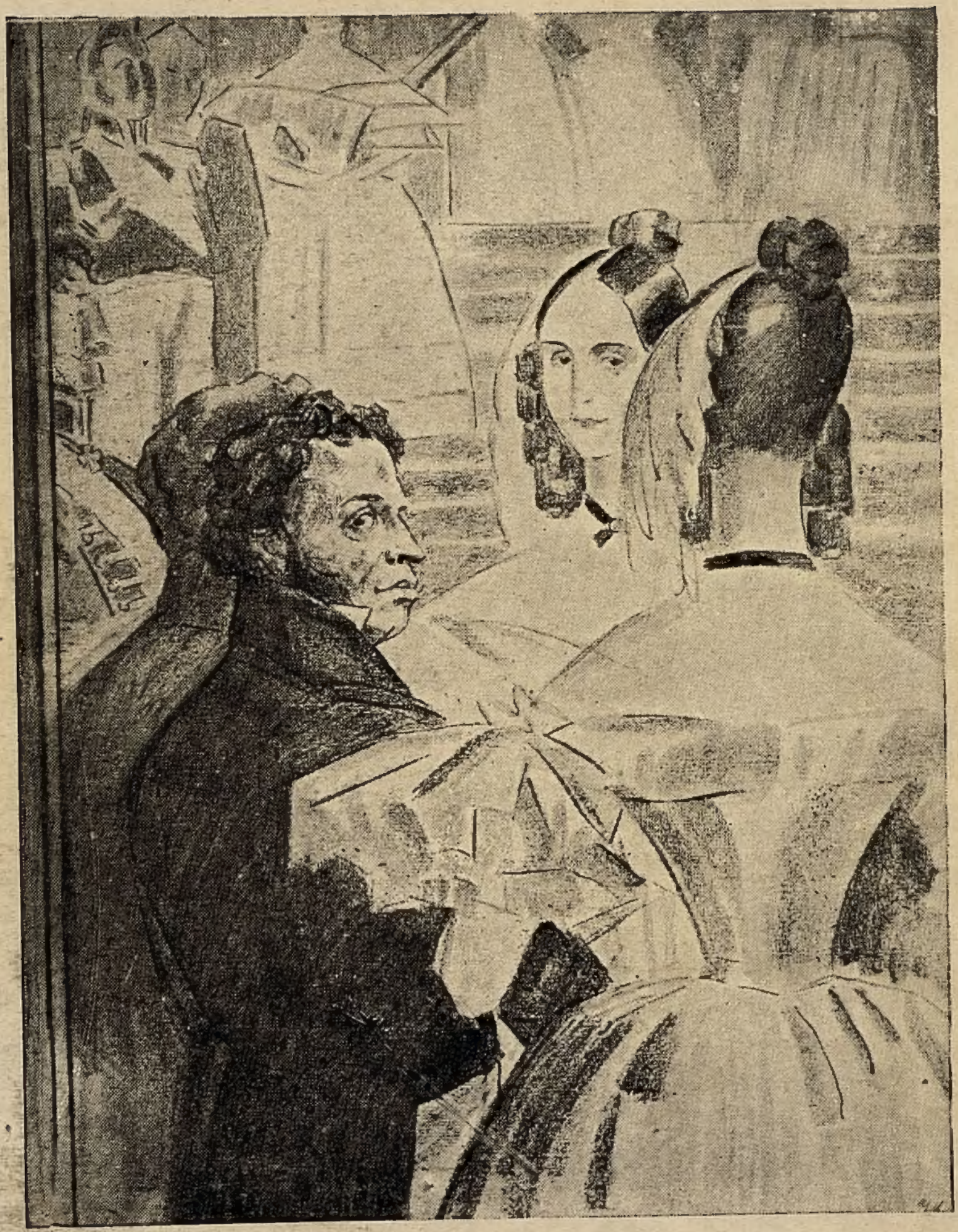
Пр. 2010

1248545



С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

НЕВЕСТА ПУШКИНА

РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Управление Делами Совнаркома
СССР

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
МОСКВА 1934

ЦГ
С 322

1248545

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского Госуниверситета
г.Екатеринбург

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МИЛЫЙ ОМУТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В конце апреля 1829 года в Москве, в доме кн. Петра Андреевича Вяземского в Чернышевском переулке, в обширном кабинете его с прекрасными книжными шкапами сидели трое: сам Вяземский, высокий, курносый, в очках, начисто бритый, с тонкими, широкими, насмешливыми губами, человек лет тридцати семи; затем, граф Толстой Федор Иваныч, прозванный Американцем, лет уже близко к пятидесяти, плотный, осанистый, молодцеватый, с густыми седеющими бакенбардами, тот самый, о котором сказал Грибоедов: «В Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист», тот самый, который «развратом удивил четыре части света» и теперь «только что картежный вор», по выражению Пушкина, и, наконец, сам Пушкин, который в Москве остановился всего на несколько дней проездом из Петербурга в Грузию.

Щуря умные серые глаза, говорит Пушкину Вяземский:

— Я все-таки теряюсь в догадках, как это тебе разрешили поездку на Кавказ, где так много декабристов... И где близка действующая армия...

— А самое важное: где близка заграница! Ты это хочешь сказать? — нетерпеливо перебивает Пушкин.

— Это само собою, хотя турецкая и персидская границы во время войны для русского правительства в отношении Пушкина едва ли опасны: не захочет же он, Пушкин,

чтобы его посадили на кол... А вот близость действующей армии... Ведь год назад, Федор Иваныч, нам с ним отказали, когда просили мы позволения следовать за императорской квартирой в действующую армию, но... нам отказали ввиду, очевидно, нашей безнравственности! Да, да, разумеется! Опасались, что мы скверно повлияем на молодых офицеров и... и войска наши, конечно, будут из-за этого разбиты!

— Гм... да. А не было ли тут, то-есть, в этом разрешении, чего-нибудь закулисного? — И Толстой многозначительно выпячивает губы.

— А именно? — настораживается Вяземский, вскидывая высоко на лоб почти безволосые брови.

— Сейчас в армии на Кавказе множество богатых людей, В тылу там безделье, скука, карточная игра. Мне писали: выигрывают огромные деньги, целые состояния...— с подъемом говорит Толстой.

Пушкин вскакивает и кладет ему руки на плечи, вдруг захохотав, но тут же оборвав смех:

— Так ты хочешь сказать, что я еду выиграть себе состояние? Ты умен, я всегда это думал!.. Это было бы для меня не плохо, но это не то... Я просто не нахожу себе места... Ах, да, так ты думаешь, что почему именно разрешили?

Но Толстой не любит, чтобы его перебивали; он продолжает, обратясь к Вяземскому:

— Так вот, компания игроков великосветских, между нами говоря, тепленькая шайка шулеров, могла решить: Пушкин просится на Кавказ? Прекрасно! Надо шепнуть, кому следует, чтобы разрешили. Пушкин — игрок: где он, там азарт; где азарт, там бросают на стол большие деньги... Отсюда вывод...

Хватая за руку Толстого и сильно дергая его к себе, перебивает Пушкин:

— Не смеши меня, пожалуйста, своими выводами! Мне и не до смеха, я серьезен, как сатана... У меня к тебе дело,

большое дело! Петр Андреич, оставь меня с ним tête-à-tête! Ради бога! Очень прошу! — и он пытается подтащить Вяземского к двери, вместе с креслом, в котором тот сидит.

— Вот как он выпроваживает меня, злодей! — широко улыбается Вяземский.

— Не сердись, я тебе потом скажу, в чем тут суть!

— Зачем же сердиться? Я знаю, что скажешь.— И Вяземский уходит из кабинета, а Пушкин берет Толстого за плечи и приближает свой «арабский профиль» к его лицу:

— Федор Иваныч! Ты для меня теперь самый нужный человек в Москве! Ты понимаешь, что это значит, когда говорят: самый нужный!?

— Что? Проигрался? Кому?.. Денег надо?.. У меня нет!.. Я сам на-днях проигрался! — подозрительно глядя на него, бубнит Толстой.

— Неужели и ты когда-нибудь можешь проиграться? Не верю! — весело тормошит его Пушкин.

Но Толстой мрачно отзывается:

— Верь!.. Это — Жемчужников, вот кто шулер!.. Огонь-Догановский, в доме которого ты, должно быть, и проигрался, тот тоже шулер!

— Верю! Мне нет никакого смысла в это не верить, тем более, что не с этой стороны ты мне нужен, не с этой! Понимаешь! Не с этой!

Однако совершенно озадачивает Толстого такой оборот дела. Он смотрит на Пушкина удивленно:

— Как? Не с денежной?.. Теряюсь в догадках, с какой же еще?

Но быстро говорит Пушкин:

— Не теряйся! Я влюблен! Помоги мне жениться!

Лицо Американца становится сразу успокоенно лукавым.

— Жениться? А говорит, что не с денежной стороны я ему нужен! Что же такое женитьба? По-эт! Постой!

Ты, пожалуй, будешь просить, чтобы я тебе Натали Гончарову высватал?

— Как ты умен! — совершенно искренно поражается Пушкин.

— Что «умен»? Угадал, а?

— Умен, умен!.. Мудр, точно райский змий!

— Это я, братец мой, и без тебя знаю! Зато ты глуп, хотя и не так уже молод!.. Лет тридцать есть? — присматривается к Пушкину Американец.

— А ты сколько дашь?

— Да уж видно, что пожил! Меньше тридцати никто не даст, а больше, пожалуй... Не моложав, нет!

Однако этот дружеский отзыв не нравится Пушкину, и он возражает быстро:

— Моложавость свойственна только дуракам! А умный создан для того, чтобы жить, а не беречь моложавость, как дева невинность!.. Так вот, будь другом, посватай!

Толстой искренно изумленно разводит руками:

— Я чтобы посватал? Послушай, что ты городишь! Умный человек, а... Я тебе удивляюсь! Хочешь беспридданницу взять?.. Ведь она в дырявых перчатках на балы является! В стоптанных туфлях танцует! Красива, скажешь? Что из того, что красива? Все девчонки красивы, а откуда уроды-дамы берутся,— чорт их знает!

— Нет, ты о Натали не говори так! Она и в пятьдесят лет будет красавицей! — отшатывается от него возмущенно Пушкин.

— Ого!.. Ретиво!.. Влюблен, влюблен, это видно... Но ведь ты знаешь, конечно, или не знаешь? У Гончарова-старика миллиона полтора долгу! Кроме того, он ведь, даром, что стар, еще два-три мильончика профинтить вполне в состоянии, если б только ему их дали! Он по-своему умен, конечно, тоже: вот уж пожил на свете! Не меньше как тридцать миллионов он промотал! Прав, прав, после смерти казачка не отпляшешь! А умрет,— мертвии бо

сраму не имуть,— пусть наследники проклинают, сколько хотят...

Но Пушкин не дает ему говорить. Он обнимает его и нежно на него смотрит:

— Хорошо, хорошо, все это я слышал, оставь!.. Федор Иваныч, ты туда к ним вхож... Закинь удочку на такого живца, как я, может быть, и клюнет!

— Э, закинь! Я люблю верную игру, а это что за игра без онеров! Ты думаешь, что ты такой вот Пушкин-поэт им там нужен? Им нужен министр, а не поэт! Самое меньшее — генерал-губернатор! Ведь у них там только и капиталу, что одна Натали, больше козырять нечем. Старшая уже под годами, средняя — раскосая, так и просидят в девках. Вхож я к ним? Мало ли я к кому вхож? А только нигде не бывает так тошно, как у них. Я за Гончарихой волочился даже когда-то, только это когда было! А теперь ведь чорт знает до чего дошла барынька!.. Когда-то была красавица тоже, не хуже Натали, а теперь халда, ханжа, и чорт ее знает, кажется, даже попивает втихомолку!.. Да что ей еще и делать прикажешь? Я бы на ее месте тоже, пожалуй, спился или с ума сошел, как ее муженек. Ведь сама она мне говорила, что то был тих, а то уж буйствовать начал, однако опеки над ним добиться она не может, вот наши порядки!.. Нет, знаешь ли что, желая тебе добра, скажу тебе, братец мой, так: ты в этот милый омут лучше оглобель не заворачивай — увязнешь! Поверь!

— Верю!.. Верю... а все-таки... Вот что, Федор Иваныч... У тебя ясная, как день, голова и сердце у тебя золотое... Ведь ты там завтра будешь, а? Я вполне уверен, что будешь... Сказал бы так, между прочим, а?

— Вот тебе на! — отзывается Толстой и озадаченно и пытливо.

— А то, видишь ли, подорожная на Кавказ — она тут вот, со мною, надо ехать... времени терять нельзя... Скажешь, а?.. Будешь другом? — умоляюще глядит Пушкин и

гладит его плечи, отчего Толстой становится вдруг торжественным и говорит вещим тоном:

— Вот что, братец мой: если у тебя любовь, то знай, что это болезнь и очень свирепая болезнь... Однако клин клином выбивают. Лечи свою любовь любовью же, этакой, понимаешь, общедоступной... При помощи Венеры простонародной, вот тебе мой совет! Потому что я тебе не враг, понимаешь? Мы когда-то поменялись эпиграммами, но помирились, мне кажется, прочно... Я к тебе зла не питаю, твой талант я любил и люблю и в пропасть тебя толкать не намерен... Все!..

И от торжественности собственных слов Толстой даже подымается с кресла, но Пушкин бросается ему на шею:

— Федор Иваныч!

— Не намерен! Отстань! — пытается освободиться от него Американец.

— Пойми, что мне-то самому ведь неудобно: в глупое положение могу стать! — умоляет Пушкин.

— А мне зачем же в глупое положение становиться?

— Друг мой! Ведь ты мой друг? Пойми, как же я поеду на Кавказ, если у меня не будет даже надежды?..

— Вот и бери с собой Надежду! — быстро отзывается Толстой.— Бери с собой Надежду, а Наталью оставь!.. Это безнадежное дело, пойми раз навсегда!

Но Пушкин тоже переходит на его торжественный тон:

— Федор Иваныч, я убежден в том, что меня выручит твой ум!.. И буду я тогда твой вечный данник...

Это несколько смешит Американца, и он сдается:

— Гм... данник... Хорош ты будешь данник, когда в долговой яме невылазно будешь сидеть!.. Но чорт с тобой, сказать я, конечно, могу.

Радостно и бурно бросается обнимать его Пушкин:

— Только скажи, больше ничего! Только скажи!

Но Американец принимает деловой вид и освобождается от объятий поэта:

— Я кстати должен быть там завтра: вспомнил долговую яму, и как-раз должок есть за стариком Гончаровым, завтра срок... Разговор неприятный, а надо говорить...

Сияя по-детски широкими глазами, которые кажутся черными теперь от расширенных зрачков, прижимается к нему Пушкин:

— Вот!.. И о том, что я прошу, скажешь?.. так, между прочим, хотя бы...

Снисходительно к нему, сощуренно глядя и слегка улыбаясь, спрашивает Американец:

— Из любопытства поглядеть, как они взовьются на дыбы оба — Наталья Ивановна и старик?.. Пусть даже и взовьются, а?

Пушкин подбрасывает голову:

— Хотя бы и так, что ж... Пусть даже и взовьются!

— Игрок!.. Нет, я все-таки больше всего люблю тебя за то, что ты игрок!

И Толстой смеется густо, по-отечески трепля рыжеватые курчавые волосы Пушкина от шеи к затылку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дом Гончаровых на углу Никитской улицы и Скарятинского переулка. В большую моленную комнату Натальи Ивановны Гончаровой в первом часу дня на обычную утреннюю молитву собирается женская половина семейства и приближенные приживалки — Катерина Алексеевна с Софьей Петровной — входят из одних дверей, девицы Гончаровы по старшинству: за Екатериной — Александра, за Александрой — Натали — из других, и сама Наталья Ивановна из третьих, из своей спальни; с нею выходит и ключница Аграфена, пожилая, грузная, из крепостных.

Женщина уже на пятом десятке лет, но с неостывшими еще следами былой красоты, высокая и прямая, Наталья

Ивановна церемонно и безмолвно, точно совершая обряд, целует поочередно своих дочерей, потом позволяет приживалкам прикоснуться к себе подобострастными губами.

Улыбаясь той скверной улыбкой, которую принято называть сладкой, спрашивает более приближенная из приживалок, Катерина Алексеевна:

— Как почивали, Наталья Ивановна? Сон был ли спокоен?

Но Наталья Ивановна говорит недовольно:

— После этих балов какой уж сон! Спишь и просыпаешься, и все опять как наяву мелькает... А ведь не ездить мне нельзя: как тут не поедешь? Не одних же их (жест в сторону дочерей) на балы пускать! Что это у тебя? Молитвенник? — перебивает она себя, пристально глядя на книжку, которую не успевает спрятать в рукав восемнадцатилетняя почти Александра.,

— Это, мама?.. Да, это...

Александра в полном замешательстве краснеет сплошь, засовывая в то же время книжечку поглубже в раструб широкого рукава.

Но мать отводит от нее недовольные, недоспавшие глаза. Она ищет кого-то ими и не находит и спрашивает всех и никого:

— Секлетея Кондратьевна где же?

— Секлетея Кондратьевна сегодня в обиде большой! — отзывается Катерина Алексеевна слегка насмешливо, при этом она чуть слышно хихикает и кивает головой в сторону Александры.

— Что еще такое?.. Секлетея Кондратьевна! — кричит в дверь Наталья Ивановна.

— Иду я, иду-у! — входит простоватая третья приживалка с толстым, в красном сафьяновом переплете молитвенником крупной славянской печати.— С добрым вас утром!.. Как почивать изволили? — останавливаясь перед Натальей Ивановной, смотрит она задумчиво в пол.

— Ты что это, дуешься, что ли? Это она тебя? — кивает на Александру Наталья Ивановна.— Что? А?

И Секлетея Кондратьевна объясняет загробным голосом, но с большим выражением:

— Да как же теперь это можно, матушка Наталья Ивановна? «Гончаровский дьячок!» — говорят на меня и очень меня дразнят, как я читаю... Тогда поэтому я читать уж больше, выходит так, что и не должна... что же... вот... То я — дьячок, то я — протопоп... Одни насмешки-с! — и она протягивает Наталье Ивановне молитвенник.

— Ты-ы это что такое себе позволяешь? — кричит Александре мать.— Над священным саном глумишься? Кто тебя учил этому, дуру?

Она бьет ее по щеке ладонью. Из рукава Александры выпадает книжка.

— Это что такое за книжка? Натали, подыми! (Натали подымает. Наталья Ивановна смотрит в лорнет на заглавный лист.).— Что-о? «Стихотворения А. Пушкина»? Та-ак? Тебя кто же учил врать матери, а-а?

— Я, мама, я... не лгала вам! — чуть говорит Александра сквозь слезы.

— Как не лгала? Я тебя спрашиваю: «Это — молитвенник?» — А ты мне говоришь: — Да!

— Я ничего не сказала, мама!

— Вот посмотрите на нее! И не хочешь, так непременно согрешишь с такими! Ты что меня в грех вводишь, а?.. Тебе кто позволил читать подобную безнравственность? Откуда ты ее взяла, эту книжку?

И Наталья Ивановна с силой бросает злосчастную книжечку стихов в дальний угол молельни.

— Везде ее продают, мама! Во всех лавках книжных... Если бы это... было безнравственно... не продавали бы...— сквозь всхлипыванья говорит Александра.

— Да, да-а!.. Так вот отвечают матери! Поспорь, поспорь с матерью еще! А?.. Она еще спорить смеет!.. Читай, Секлетея, молитвы!

И Секлетея Кондратьевна выступает вперед, перед иконы, развертывает благоговейно молитвенник, разглаживает листочки и начинает читать глухим мужским голосом, отчетливо произнося слова:

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь!

Все начинают креститься истово, а Наталья Ивановна, оглядываясь, спрашивает вдруг:

— А Сережа? Сережа где?

— Сережа давно встал, занимается с учителем,— отвечает старшая, двадцатидвухлетняя Екатерина.

— Занимается, а молился ли? Позови его сюда, поди!

Екатерина уходит. Из дверей, откуда вышла Секлетея Кондратьевна, осторожно высовывается повар Пров — в белом колпаке, человек очень толстый и почтительно требовательный.

— Ты что сюда лезешь? — кричит на него Наталья Ивановна.

— Барыня, мне два слова насчет обеда сказать...— хрипло рычит Пров.

— Пошел, пошел!.. После с обедом!

— После,— может у меня обед запоздать, барыня! — настаивает Пров.

Но Аграфена, на которую негодующе глядит Наталья Ивановна, шикает на него:— Иди, иди, когда тебе говорят. Пров! Иди!

И Пров скрывается. Входит из других дверей высокая темноволосая Екатерина, за ней Сережа с недовольным лицом красивого подростка.

— Ты почему на молитву не вышел? — очень строго спрашивает мать.

— Мне никто не сказал, мама!— почтительно подходя и целуя руку матери, бормочет Сережа.

— Становись рядом!.. Секлетея, сначала начни!.. — приказывает Наталья Ивановна.

И Секлетея тоном начетчицы начинает снова:

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Боже, ми-

лостив буди мне грешному!.. Господи Иисусе Христе, сыне божий, молитв ради пречистой твоея матери и всех святых помилуй нас, аминь... Слава тебе, боже наш, слава тебе. Царю небесный, утешителю, душе истинный, иже везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, блаже, души наша...

Тут она звучно переворачивает лист и продолжает с бо́льшим подъемом:

— Восставше от сна припадаем ти, блаже, и ангельскую песнь вопием ти, сильнее: свят, свят, свят еси, боже, богородицею помилуй ны!

Среди молящихся начинается движение, они переглядываются недоуменно, а Секлетея продолжает трубить:

— От одра и сна воздвигл мя еси, господи, ум мой просвети и сердце и устне мои отверзи, во еже пети тя, святыя троицы! свят, свят еси боже, богородицею помилуй мя!

— Постой! А что же ты «Пресвятую Троицу» пропустила? — негодующе останавливает чтицу Наталья Ивановна.

— И ведь «Отченаша» тоже не прочитала! — вставляет Катерина Алексеевна тихо, но с ужасом.

— Ах, горе мое! Листочки тут слиплися два,— и сама читаю, удивляюсь, как же это так скоро сегодня читается! — пугается своей непростительной ошибке Секлетея Кондратьевна, но тут медленно отворяется дверь и входит с лорнетом в одной руке и с бумагами в другой в седом парике, в полосатом бухарском халате, Афанасий Николаевич Гончаров, семидесятилетний свекор Натальи Ивановны, владелец майората Гончаровых в Калужской и других губерниях; семенящей, однако хозяйской походкой подходит он к Наталье Ивановне:

— Доброго утра, дорогая моя Натали, хотя давно уж день, и я давно на ногах... Я, знаешь ли, подглядывал в дверь и вижу,— в молитве какая-то заминочка, значит, я могу... Я с неотложным делом, с наиважнейшим! Иначе разве бы я посягнул?..

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского Госуниверситета
г.Екатеринбург

Но Наталья Ивановна, отступая на шаг, всплескивает руками:

— Я изумлена!.. Как вы вошли сюда, когда мы молимся!

Держа руку около левого уха, наклоняется к ней Афанасий Николаич:

— А? Молитесь? Да ведь не молитесь же, я вижу... И, наконец, между нами говоря, бог, он, владыка, терпелив! Бог терпелив, и он подождет немного, а вот кредиторы... они,— моя дорогая Натали, они не желают ждать!.. И вот бумажка такого рода... возьмите-ка свой лорнет и взгляните...

Наталья Ивановна, отступая в ужасе, смотрит на него так, точно сейчас же он должен провалиться сквозь пол, и она даже подбирает платье, как бы опасаясь провалиться с ним вместе:

— Так говорить о господе нашем? Вы — афей, афей! Оставьте меня! Идите отсюда, идите!.. Так говорить перед иконами?..

И она крестится и пятится, крестится и пятится и пронизывает старца исступленно возмущенным взглядом.

Но старец, расслышав слово «афей», т.-е. безбожник, возмущается и сам, всех кругом оглядывает изумленными глазами и крестится частыми крестиками, бормоча:

— Я — афей! Я?.. В первый раз слышу!

В это время за дверью, в которую вошел Афанасий Николаевич, раздаются дикие крики:— Держите! Уйде-ет! — потом торопливый и звучный топот ног, и в дверь врывается растрепанный, в сером байковом халате, рыжий с проседью, голубоглазый Николай Афанасьевич, его сын, муж Натальи Ивановны, а за ним его камердинер Терентий. красивый человек средних лет, и еще двое лакеев помоложе. У одного в руках широкая белая крепкая тесьма с петлею.

Николай Афанасьевич, вбегая в середину шарахающихся от него дочерей и жены, кричит неестественно громко:

— А-а, царица с царевнами!.. А царевичи, царевичи где?.. Где царевичи?.. А-а! Вот один, вижу! — находит он глазами Сережу, робко выглядывающего из-за сестер.

В ужасе пятясь от мужа под иконы, визгливо кричит Наталья Ивановна:

— Вяжите его! Вяжите!

Но Николай Афанасьевич схватывает Натали и тискает ее, приговаривая:

— Ца-рев-на Ле-бедь! Царевна Лебедь!

Натали визжит, вырываясь из отцовских объятий. От нее разбегаются сестры и приживалки.

— Терентий! Терентий, вяжи! — вопит Аграфена.

Терентий с лакеями бросается на Николая Афанасьевича, который воет пронзительно и заунывно, по-волчьи. Они опрокидывают Николая Афанасьевича и вяжут ему руки. Освобожденная Натали выбегает вон из комнаты, плача, а за нею обе сестры.

Наталья Ивановна топочет ногами, приседая:

— Вон его! Несите вон его отсюда!.. Несите же!.. Тащите, вам говорят!

— Здо-ро-вый! — рычит, борясь с больным, один из лакеев.

Это слово расслышал Афанасий Николаич.

— Я то-оже был когда-то здоровый! Эх, Коля, Коля! — кивает он беспомощно головою.

— Ногами бьет, барыня! — Нет терпенья! — орет другой лакей.

Но его покрывает пронзительный вскрик Терентия:

— Укусили! Барыня! Они меня укусили! Ей богу!.. Ах, погибший я теперь человек! Сбешусь!

И в отчаянии, что теперь непременно он сбесится, Терентий толкает своего барина локтем в лицо.

Это замечает Сережа и кричит высоким, тонким, но ломающимся, как у всякого подростка, голосом:

— Не сме-ей! Хам! Не смей бить папу!.. Мама, они папу бьют!

— Тащите его! Тащите скорей! — кричит, не слушая его, Наталья Ивановна.

Николай Афанасьевич упирается и тоже кричит истошно, но его подхватили под колени и уносят на руках.

— Они и рады! Этот Терентий!.. Барину своему руки вязать! — не унимается Сережа и вызывает грозный окрик матери:

— Сережка! Уйди вон отсюда! Иди заниматься!

— Вот они, пугачовцы!.. Это пугачовцы! — испуганно бормочет Сережа и стремительно выбегает вслед лакеям, уносящим отца; за ним порывисто уходит Наталья Ивановна, а за нею Афанасий Николаевич и Аграфена; остаются одни приживалки, не решаясь уйти из молельни, и, всплескивая ручками, говорит Катерина Алексеевна:

— Боже мой, боже мой, что же это с ним? Все время был тихий, только ходит и бормочет, а то про себя улыбается... и вдруг... что такое?

— Музыку, должно быть, полковую услыхал... Или лошадь близко около себя увидел...— пытается догадаться Софья Петровна.

— Где же ему лошадь увидать? — хочет уяснить Катерина Алексеевна.

— А может в саду гулял, а за оградой чья-нибудь лошадь... Ведь это когда он с лошади упал, за зайцем скакал, тогда ведь это с ним сотрясение головы случилось!

— А какой музыкант был замечательный, ах-ах, ах!.. Жить бы да жить в уме, в здоровье, ан вот...

И Екатерина Алексеевна скорбно качает головкой, а Секлетея Кондратьевна спрашивает ее мрачно:

— Что же нам теперь? Будем ли молитвы продолжать или уж расходиться нам?

Проворно оглядываясь на открытые настежь двери, отвечает ей Софья Петровна.

— Я полагаю, что как же иначе? Уж Наталья Ивановна свое сделает, а как же?

— Как это свое? Это — божье, а не наше совсем! — подо-

зрительно глядит на нее Секлетея, и Софья Петровна вынуждена поправиться:

— Ну, то-есть, свой обиход жизни, я хотела сказать!.. А вот учитель сережин, немец, и даже из комнаты сюда не вышел... Ему хоть из пушек пали!

Между тем неотступно думающий о господском обеде Пров сначала заглядывает в дверь, потом появляется весь толстый, в белом:

— Ну, вот, потребуется в свое время обед, а что я сделаю, когда провизии мне не дадено? А говорю, внимания ко мне нет. Потом же крик один будет, а в рассуждение никто не возьмет: чем же я виноват? К Аграфене обращаюсь, Аграфена не знает, а кто же ключница? Аграфена! И она не знает! Кто же тогда знает?

Однако входит всезнающая Наталья Ивановна решительной походкой и говорит недовольно:

— Куда это все разошлись? А? А ты чего опять здесь, Пров?

— Барыня! Я опять же касательно обеда...— кланяется Пров, насколько может, по своей толщине.

— Как ты сме-ешь входить безо времени? Кто тебя звал сюда? Кто? А? — раздражается Наталья Ивановна.

— Барыня! — умоляет Пров и даже пытается сложить соответственно руки перед животом.

— Я тебе сказала: после? Я тебе сказала: после? Ступай вон.

Наталья Ивановна топает ногами и Пров исчезает, а Катерина Алексеевна говорит ревностно:

— Я сейчас позову всех, всех!

— И Сережку тоже! — кричит ей вдогонку Наталья Ивановна.

— Секлетея Кондратьевна! Опять сначала начнешь... Только смотри уж не пропускай! Это на нас наказание за твой грех... А еще Афанасий Николаич своей выходкой афейской добавил...

И когда входят Екатерина, Александра, Натали, за ними Сережа с весьма недовольным лицом и Катерина Алексеевна, она обращается ко всем с привычной строгостью в голосе:

— Куда это все ушли из моленной? Чтоб никогда больше этого не смели делать! Читай, Секлетея!

Секлетея Кондратьевна крестится,— а за нею все как по команде,— и начинает снова:

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь!.. Боже, милостив буди мне грешному!

Однако входящая плавно, но решительно Аграфена говорит таинственно:

— Барыня! Там гости к вам... Их сиятельство граф Толстой!

— Что-о? Еще что такое? Какой граф Толстой?— негодует Наталья Ивановна.

— Ну обыкновенно, Федор Иваныч...

— Скажи... Скажи, что сейчас выйду! Что это, господи, никак домолиться сегодня нам не дают!

Повышая голос как всегда при конце своего чтения, Секлетея возглашает:

— И ны-ыне и присно и во веки веков, аминь! — крестится и закрывает книгу.

— Что же это ты зааминила? — изумляется Наталья Ивановна.

— Да ведь как же, матушка Наталья Ивановна, когда гости?

— Что у тебя за разговоры такие? Придут гости, уйдут гости, а бога я не забуду, нет! — трясет головою в буклях Наталья Ивановна.

Но стук в дверь и голос гр. Толстого:— Наталья Ивановна, к вам можно? — заставляет ее перейти на шопот и она машет руками, говоря:

— Идите все отсюда! Идите все! — И все проталкиваются к двери, оставляя ее одну. Последней уходит Аграфена.

— Войдите, граф! — тонно говорит Наталья Ивановна, оправляя платье.

Толстой, входя, кланяется низко; у него торжественный вид.

— Приношу мое почтенье, дорогая Наталья Ивановна, если только не помешал я вам, от чего боже избави!

Обольстительно улыбаясь, говорит Наталья Ивановна, протягивая руку для поцелуя:

— Здравствуйте, граф!

— Очень рад вас видеть здоровой, цветущей! — кланяется Толстой, длительно целуя ее руку.

Наталья Ивановна жеманится:

— Какое у меня уж здоровье? Идемте в мою комнату, граф!

Однако Толстому не хочется уходить из молельни.

— Я всегда был в убеждении, что это тоже ваша комната!— говорит он серьезно...— И знаете ли, дорогая Наталья Ивановна, святость этих ликов кругом как нельзя более приличествует предмету моей с вами беседы... Нет, вы разрешите мне, человеку искренно религиозному, остаться с вами здесь! Я сейчас очень серьезен, я сейчас именно молитвенно, я бы так сказал, настроен. Я к вам по очень волнующему меня делу... Поверьте, я искренне говорю!

И в доказательство этой искренности он прикладывает руку к сердцу.

Такой торжественный тон заставляет Наталью Ивановну насторожиться.

— Садитесь, граф!

Оба садятся; она тщательно оправляет платье и вздыхает:

— Ах, все эти серьезные дела, граф, мне успели уж так надоесть сегодня, хотя я и недавно встала!.. О серьезных делах вам надо бы говорить с моим свекром... А с меня довольно своих тяжестей... Три дочери, граф, так

как вы не жених и не отец жениха, то я вам могу пожаловаться на эту тяжесть!

— И очень, очень кстати! Именно мне!..— подхватывает Толстой...— Правда, я не жених, о чем очень сожалею, и не отец женихов,— об этом я сожалею меньше,— но отчего бы мне не быть вот сейчас сватом, а? Как вы находите, Наталья Ивановна, гожусь я в сваты?

При этих словах Наталья Ивановна вся преображается против своего желанья показать это.

— Неу-жели? Вы, конечно, шутите, как всегда?

— Помилуйте, я ведь сказал вам, что по серьезному делу!

— Я знаю, что это за серьезные дела! Вексель, который просрочен и отсрочен, и по которому, наконец, надо платить! Но ведь этими делами ведает Афанасий Николаич, а не я, нет!

— Нет, к вам, дорогая Наталья Николаевна, на вашу половину я не с тем пришел, не с тем!

И вдруг, вдохновенно поднявшись сам, он подымает ее и подводит к иконам:

— Помолимся господу!.. Помоги, господи, принять решение твердое ко благу, а не во вред!..— он истово крестится и кланяется низко на три стороны, так как с трех сторон висят иконы. Наталья Ивановна крестится и кланяется тоже, но вопросительно глядит на него вбок.— Дай нам, боже, ума светлого! — продолжает креститься Толстой, наконец говорит просто: — Вот теперь наша беседа освящена. Теперь сядемте, поговорим. Вы, конечно, знаете Пушкина?

При этой фамилии очень оживляется Наталья Ивановна:

— Графа? Какого именно?

— Нет, не графа... Пушкина-стихотворца...

Лицо Натальи Ивановны мгновенно каменеет в изумлении.

— Пушкина-стихотворца? Этого афея и сорванца?

Она глядит на книжку которая валяется, брошенная ею, недалеко от Толстого, и кивает на нее Американцу:

— Вот, возьмите, граф, эту мерзкую книжонку и посмотрите!

Но Американца трудно смутить. Он догадливо дотягивается до книжечки. Поднимает ее, смотрит:

— А-а, ну вот, тем лучше! Значит, вы даже и читаете этого поэта... тем лучше... так мы скорее столкуемся... «У вас — товар, у нас — купец, собою парень молодец»... Вот как-раз подходящие открылись строчки... Сорванец, вы сказали? Какой же он теперь сорванец? Ему уже тридцать лет! Был, конечно, сорванцом, не спорю, и всем это известно, но теперь...

— Государь его терпеть не может. Это мне говорили верные люди! — горячо перебивает Наталья Ивановна, чем возмущает Американца.

— Что вы! Что вы!.. Совсем напротив. Государь-то его и ценит, а за ним все!

— Помилуйте, граф! Да за ним, мне говорили, даже секретный полицейский надзор! — понижает голос Наталья Ивановна.

— А за кем же из нас нет полицейского надзора? — беспечно спрашивает Толстой.— Это еще хорошо, что секретный, а не гласный!

— Даже письма его, говорят, приказано читать на почте!

— А чьих же писем не читают на почте! И мои, и ваши, конечно, читают, будьте покойны! — улыбается Толстой.

— Неужели все письма успевают прочитать? Что вы!

— По наитию, Наталья Ивановна! Там, в почтамте, сидят ясновидящие и всякую зловредность нашу видят сквозь конверты... Нет, Пушкина никто уж больше не притесняет...

— Даже и кредиторы?

— Кого же из нас не притесняют эти пакостники!

— Но ведь Пушкин — он ведь известный афей! — совершенно пугается Наталья Ивановна.

— Вот уж этого бы я не сказал! Он был когда-то грешен в этом и то немного, за что и наказан царем Александром... Нет, он теперь совсем не афей, поверьте! — наклоняется к ней для большей убедительности Американец.

— Хорош не афей! А «Гавриилиаду» кто написал? Ведь это такое кощунство!

И она вдруг закрывает глаза руками в полнейшем ужасе.

— Откуда же «Гавриилиада» до вас дошла? — удивляется, вздергивая плечи и брови, Американец.— Вот уж не думал даже, чтобы вы так интересовались и до меня моим женихом! Нет, нет, дорогая Наталья Ивановна, на этот счет успокойтесь: «Гавриилиада» не его сочинение, а на него только свалили. И он мне сам говорил: «Написал я лично государю, чтобы от меня отстали с «Гавриилиадой» и царь приказал оставить меня в покое!»

— Значит, это не он писал такую мерзость? Вы убеждены? — начинает светлеть Наталья Ивановна.

Но Толстой говорит совершенно убежденно:

— Помилуйте, да если бы действительно он, ведь его бы в Соловки за это загнали! Что вы, дорогая!

— И стоило бы! За это стоило бы! Я бы сама так и решила! Но ведь он... какой же он жених, ведь он нищий! Что у него есть?

— Тысяча душ! — не задумываясь, решает Американец.

— Тысяча? У него? Неужели? — приятно удивляется Наталья Ивановна.

— Пока у отца, конечно, но ведь это все равно, что у него... Дочь выделена... Конечно, отец передаст ему имения свои, лишь только он женится.

Наталья Ивановна смотрит на него пытливо, неопределенно цедя слова:

— Если вы это знаете... Но как же он уродлив, этот Пушкин! Он ведь мне был представлен на одном балу... Он к Александре сватается? — вдруг спрашивает она живо.

Этот вопрос удивляет Толстого.

— Насколько я от него слышал, он влюблен в Натали,— говорит он.

Наталья Ивановна даже несколько приподнимается от крайнего изумления:

— На-та-ли? Что вы сказали, граф?!. На-та-ли чтобы я... Натали чтобы отдала за какого-то Пушкина?.. Ого!

Несколько мгновений она уничтожающе молчит и негодующе смотрит, пока не заканчивает быстро и решительно:

— Так не выдают дочерей, Федор Иваныч, начиная с младшей! Пока не выдана старшая, младшая сиди себе и жди своей очереди! Да!

И вдруг она смеется нервическим затяжным смехом:

— Пушкин! И Натали! Пуш-кин и На-та-ли!.. А на какое приданое, любопытно мне знать, рассчитывал ваш жених? — добавляет она сквозь смех.

— Он мне ни слова не сказал об этом, дорогая Наталья Ивановна,— с достоинством человека, которого совершенно невозможно обескуражить, отвечает Американец.

— Очень богатое воображение у этих поэтов! Он, конечно, рассчитывал на гончаровские миллионы? Но этих миллионов уж нет, к сожалению, как вам хорошо известно, граф! — качает головой Наталья Ивановна.

Толстой возражает спокойно:

— Я думаю, что и ему, Пушкину, это тоже известно.

— Что известно? Что ему известно?..— вдруг вскидывается Наталья Ивановна.— Миллионов за моими дочерьми нет, но они не бесприданницы, отнюдь нет!.. Этого никто не смеет думать!

— Помилуйте, Наталья Ивановна, кто же смеет такое думать? А что касается долгов, то у кого же их нет? Государство даже, и то берет в долг на то, на сё. Без «долгов» и молитва «Отче наш» не считалась бы молитвой господней... Но что же все-таки должен я сказать милейшему Пушкину, который ждет решения своей участи от вас единственно! Да или нет?.. Только не будьте к нему жестоки,— он далеко пойдет,— не просчитайтесь! А жестокостью вы

его убьете, Наталья Ивановна! Он не сегодня-завтра едет на Кавказ и там...

Очень оживленно перебивает Наталья Ивановна:

— На Кавказ? Зачем? Он поступает в полк?

— Не в полк, но у Паскевича будет... Сам царь ему разрешил поездку эту, вот что важно! — подымает палец Толстой.

Однако Наталья Ивановна только удивлена этим:

— Как это «разрешил сам царь»? Я знаю столько случаев, люди ездили на Кавказ лечиться и ни у кого разрешения не спрашивали, не только у самого царя! Но может быть он за чем-нибудь важным туда едет, если царю доложили об этом?

— Несомненно! Но об этом знает только царь, да он, Пушкин... Наталья Ивановна, я у вас засиделся! Однако так и не узнал вашего ответа. Что же все-таки должен я передать ему?

— Что же еще передать ему, кроме того, что говорилось? Разве Натали моя перестарок какой-нибудь? Ей всего-то шестнадцать лет! Ей еще много партий может представиться! Ей еще очень и очень можно подождать с окончательным словом!

— Значит, не то чтобы «да», однако же не окончательно и «нет». Так я вас понял?

— Разумеется, между нами говоря, окончательно «нет» говорят когда же? Когда другой жених сватается в одно и то же время и он выгоднее, этот другой жених.

— А за Натали никто такой другой еще не сватался? — осторожно допытывается Толстой.

— Зачем же мне лгать и выдумывать, перед святыми иконами сидя? Я говорю откровенно вам: нет, пока не сватался! Да ведь Натали мы недавно и вывозить стали: к ней еще не присмотрелись... А присмотреться есть к кому, есть? — самодовольно заканчивает Наталья Ивановна, делая движение подняться.

— Ну, кто же будет спорить? Разве слепец только!.. Итак: ни «да», ни «нет», но надеяться все-таки может?— почтительно наклоняется к ней, подымаясь, Толстой.

— Надежды ни у кого нельзя отнимать, граф! — поднимается и Наталья Ивановна, протягивая руку.

— Хорошо. Я так и передам. Счастливо оставаться, дорогая Наталья Ивановна, и прощенья прошу за беспокойство...

Он целует руку и уходит, а из другой двери выглядывает тут же после его ухода любопытствующая голова Катерины Алексеевны, потом Софьи Петровны, и в то время, как Наталья Ивановна уходит тоже провожать гостя, они входят в молельню.

Вся в возбуждении, сцепивши руки над головой, тихо вскрикивает Софья Петровна:

— За Наташечку сватается! Пушкин-сочинитель!

— Да вы ясно ли расслышали? — сомневается Катерина Алексеевна.

— Ну, еще бы, еще бы! Так же, как вас вот слышу!

Отворяя дверь, ведущую в комнаты сестер, она кричит:

— Наташечка! Наташечка!

Натали входит и смотрит в недоумении. К ней кидается Катерина Алексеевна:

— Вы знаете, какую вам честь оказал сочинитель Пушкин? Предложение делает!

— Сурьезно, сурьезно! Я сама слышала! — подскакивает с другой стороны Софья Петровна.

— Че-есть? Какая же тут особенная честь? Не понимаю! — удивляется Натали и пожимает пренебрежительно плечами, так что Катерина Алексеевна сразу спадает с тона, говоря:

— Ну, все-таки! Пушкина, как генерала какого важного, вся ведь Россия знает! Скажи только: Пушкин! — и сейчас тебе всякий грамотный отзывается:— Это сочинитель?

Так как входят и две старших сестры Натали, то к ним со своей новостью тоже бросается Софья Петровна:

— Пушкин-сочинитель присылал свата — графа Толстого!

Это заставляет Александру зардеться и вскрикнуть:

— Пушкин? Не-у-же-ли?

А Екатерину спросить тихо у Катерины Алексеевны:

— За кого сватался?

— Вот за счастливицу нашу — продолжает сиять, гладя руку Натали, Катерина Алексеевна,— а она недовольна!

Александра зло отворачивается к окну, видит свою книжечку, положенную Толстым на пуф, берет ее было, но швыряет снова на тот же пуф.

А Екатерина отзывается весьма пренебрежительно:

— Пуш-кин! Подумаешь тоже! Вот так жених! Очень странно даже, что граф Толстой пришел от него сватом!..

Входит Наталья Ивановна, проводившая гостя:

— А-а! Все опять собрались? Ну, вот и отлично, что никого не звать! А где же Секлетея? Секлетея Кондратьевна! Домолимся уж теперь, авось никто больше не помешает, а потом за кофе сядем!

Секлетея выступает снова с молитвенником вперед. Все принимают молитвенные позы, и снова раздается густой и несомневающийся голос:

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь! Боже, милостив буди мне грешному!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В доме князя Вяземского, в том же кабинете, как и в первой главе, сам Вяземский, Вера Федоровна Вяземская, его жена, которая года на два старше мужа, и Пушкин.

— Кстати, Пушкин, о тебе написал в Лондоне доктор Гранвиль, будто ты перевел на русский язык шекспирова «Лира», а? Какова осведомленность? — широко улыбается Вяземский.

— Да, я знаю это... Говорил мне кто-то... кажется, Полевой... Да-ле-ко вперед забежал Гранвиль! Правда, думал я перевести одну шекспирову пьесу, только не «Лира», а «Меру за меру»... Но откуда Гранвиль мог узнать даже и это? Никому ведь я не разбалтывал. Теперь мне остается думать, что я окружен дальновиднейшими шпионами!

— Ты и окружен ими! — быстро вставляет Вяземский.

— Спасибо за откровенность! Ха-ха-ха-ха!.. Как я его поймал, а, Вера Федоровна? — торжествует Пушкин, а Вера Федоровна смеется звонко вместе с ним.

— По-вашему выходит, что и я за вами шпионю! Благодарю!

— Кстати, говорят, что тот же Гранвиль произвел в девицы Зенеиду Волконскую! — продолжает о литературных новостях Вяземский, но Пушкин подхватывает живо:

— Разжаловал!.. Не так ты сказал. В девицы можно только разжаловать, ха-ха-ха!

— И будто заставил ее написать оду на смерть императора Александра! — удивляется в свою очередь Вяземская, на что замечает ее муж ядовито:

— Ничего! Все это — кусок хлеба для Полевого с его «Телеграфом!»

— Отвратительное создание этот Полевой! И руки у него вечно потные, брр!.. И невоспитан: я уронил платок, а он кинулся поднимать!..— морщится презрительно Пушкин.

— А как говорит по-французски!..— поддерживает Вяземский...— Нет, милый Пушкин, нам надобно затевать свой журнал!

— Я только об этом и думаю! Но не в Москве, как ты хочешь, а в Петербурге! Ах, княгинюшка, какая омерзительная Москва! Даже хуже Одессы, не правда ли? Вы как будто этого не замечаете и так прилежно заняты своим вышиваньем! Это ужасно!

— Боже мой, что же я должна делать? Проливать слезы? — смеется Вяземская.

— Непремённо!.. Выть! Вопить! Биться головой о все стены! — И Пушкин вскакивает и мечется по комнате.— Москва! Что может быть гаже? Как хорошо, что я сегодня же ночью еду на Кавказ!

— Сегодня? — сомневается Вера Федоровна.

Обеспокоивается и Вяземский.

— Как так сегодня ночью? И почему ночью?

— Он шутит, разве ты не видишь? — говорит Вера Федоровна.

— Нет, я не шучу... Вот вы увидите... Подъедет сюда почтовая колымага, и только вы меня видели! Найдется же там кто-нибудь с белой головой и меня застрелит, как зайца! — мрачно предсказывает о себе Пушкин, все также бегая по комнате, и Вяземский, наконец, замечает, что он волнуется.

— Ты в скверном настроении что-то... Что случилось? Или просто хандришь? Ах, как пишут на Западе,— прости, это я чтобы не забыть, говорю,— Вальтер Скотт выдает в свет полное собрание своих романов со своей биографией... Ты его «Карла Смелого» не читал?

— Нет... не читал,— бурчит на ходу Пушкин.

— Но ведь это только предпоследний, а есть уже и новый — «Анна Геренгейм»... Положительно, он их печет, а не пишет! Должно быть, у него совсем и не бывает черновиков!

— Как у Лопеза-де-Веги?.. Конечно, зачем и черновики, когда язык уже давно разработан, и все забыли в Англии, когда умер их Шишков, Александр Семеныч! А попробуй-ка у нас тот же Вальтер Скотт написать без черновиков! Загрызут Булгарины, потому что поляки! Вполне правильным русским языком у нас пишут только поляки, это их привилегия! — зло отчеканивает Пушкин, а Вяземский подхватывает:

— Они же только могут и издавать журналы... Вот почему я думаю все-таки, что и Полевой вылетит в трубу!

— Хорошо еще, если только в трубу, а не в Сибирь!

Но тут Пушкин слышит осторожный стук, и он кидается к двери и отворяет.

— Гость-с!..— говорит, появляясь, лакей.

— Кто? Кто? Граф Толстой?

Пушкин нетерпеливо отпихивает лакея, чтобы бежать навстречу Толстому, но лакей отвечает, кланяясь:

— Нет-с... Господин Баратынский.

И Пушкин тянет разочарованно:

— А-а!..

— Евгений Абрамыч? Прекрасно! — встает Вяземский навстречу Баратынскому, который входит, щегольски одетый.

— А я на огонек! Домовничаете? Здравствуйте, княгиня! — целует Баратынский руку Веры Федоровны — Петр Андреич! И Пушкин! Хорошо, что я тебя еще увидел до твоего отъезда!

— Сегодня ночью еду,— холодно здоровается с ним Пушкин.

— Что так? И почему же ночью? А проводы? — удивляется Баратынский.— Надо бы хотя бы завтрак у Яра, а, Петр Андреич?

— Он не в своей тарелке...— объясняет Вяземский.— И я заметил, что у него какие-то шашни с Американцем.

— Шашни? Вопрос жизни или смерти, а не шашни!..— горячо кричит Пушкин.— А впрочем, к чорту Американца!

— Неужели дуэль? — пугается Баратынский.

— Нет, нет, успокойся! Пожалуй и дуэль, но это дуэль другого рода,— обнимает его Пушкин, а Вяземская улыбается лукаво, говоря Баратынскому:

— Поверьте мне, это любовь! Это его сто первая любовь,— правда, Александр Сергеич?

— Сто первая? Нет... нет, едва ли... едва ли у меня было так много... Впрочем, может быть, было и больше!

— «Едва ли», а? Какая скромность!.. Но он потому и

поэт, что вечно в кого-нибудь влюблен... Что он будет делать, когда женится? — спрашивает Вяземский.

— Писать прозу...— быстро отвечает Пушкин.— Поэтом же и вообще-то можно быть так лет... до тридцати пяти, а вот пьесы можно писать и до семидесяти, как Кальдерон... Странно, прежде я любил ездить, а в этой поездке моей будущее рисуется мне очень смутно.

— А меня, признаться, будущее всегда пугает! Я люблю настоящее,— подхватывает Баратынский.

Это веселит Пушкина.

— Ха-ха-ха!.. Вот домосед!

Но Баратынский готов разъяснить, почему он домосед:

— Да ведь теперь путешествие по России все равно, что к соседу по имению в гости съездить. Разве увидишь что-нибудь отличное от того места, из которого выехал, если ее даже из конца в конец проедешь? Ничего особенного не увидишь. И напрасно у нас дороги измеряют верстами... Писали бы просто: от города Кирсанова, например, до города Казани столько-то часов скуки.

— Так за границей измеряют дорогу: временем,— вставляет Вяземский.

— Но у нас гораздо больше на это права... Кстати, дороги заграницей... Читаю сейчас «Confessions» Руссо и думаю, что это — огромный подарок человечеству... Конечно, каждый писатель мыслит и имеет некоторое право на звание философа, но надо, чтобы философия его была своя, а не чужая... У Жан-Жака она — вся целиком своя, и это в нем меня покоряет. Нам, грешным, недостает просвещенного фанатизма... Поэзия веры совсем не для нас, нам в удел дана только индивидуальная поэзия... А французы, даже современные, как Гюго или вот хотя бы Барбье!

Это вызывает горестное замечание Вяземского:

— Во Франции есть общество, к которому обращается поэт, а у нас оно где? У нас какой-то необитаемый остров!

А Пушкин, живо представляя необитаемый остров, вмешивается бурно:

— И хотя говорил Виланд, что если бы он жил на необитаемом острове, то так же бы тщательно отделывал свои стихи, как и в кругу друзей, но... я весьма сомневаюсь в этом! Он ходил бы по берегу целый день и глотал бы ракушек, а про стихи бы забыл... Кстати, в Одессе едят ракушек греки. Эти ракушки называются мидии. Вера Федоровна, вы их там ели, кажется, эти ракушки?

— Мидии? Брр...— выставляет руки вперед Вяземская, как для защиты.— Я их попробовала попробовать, но один их вид вызвал у меня отвращение... Их там едят с рисом, в виде пилава.

— Но устриц мы однако глотаем и, кажется, без всякого протеста! —замечает Баратынский.

— Устрицы, конечно, такая же дрянь, и я лично ни одной проглотить не в состоянии, но они почему-то вошли в моду!

— Потому же, почему входят в моду иные поэты!..— объясняет Вяземской Баратынский.— Кстати, недавно я видел Мицкевича, и он мне целый вечер говорил о Байроне... Он положительно байронов пленник... А между тем он сам...

— Великий поэт! — живо заканчивает Пушкин.

— Ты согласен?.. Конечно, у кого же другой взгляд на Мицкевича!

— Блестящий импровизатор! — горячо говорит Пушкин.— У меня вертится в голове мысль воспользоваться этим его талантом для одной вещи... Потом, потом... не сейчас...

— А я был, признаться, очень удручен этим его байронизмом... Мы, славянские поэты, и без того очень эклектичны... Я ему высказал это без стесненья... А потом я написал вот такие стихи... Прослушайте! — И Баратынский, обведя всех своими красивыми глазами и усевшись прямее, читает наизусть:

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик.
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

— Браво! — вскрикивает Пушкин.

— Прекрасно, Евгений Абрамович! Прекрасно! — восхищенно говорит Вера Федоровна.

— А Дорату, слишком мелкому писателю, не большая ли отдана у вас честь? Поставили вы его в один ряд с Шекспиром,— удивляется Вяземский.

— Я это сделал сознательно!..— объясняет, волнуясь, Баратынский.— У нас находятся подражатели даже и таких легковесных французов, как Дорат...

— Ты эти стихи послал Мицкевичу? — живо спрашивает Пушкин.

— А ловко ли будет ему их послать?

— Отчего же? Ведь это не эпиграмма...

— Стихи превосходны!..— задумчиво говорит Вяземский.

— Мне очень нравится и ваше «Переселение душ» в «Северных цветах», Евгений Абрамович! Вы показали себя там и таким, между прочим, знатоком женской души! — слегка грозит пальцем Вера Федоровна.

Баратынский польщенно наклоняет к ней голову:

— Я стал им после женитьбы, княгиня.

Этот ответ очень нравится Пушкину; он подхватывает живо:

— Вот именно! А быть знатоком женской души в России, где читателей совсем нет, а есть только читательницы, это все... Лишний довод в пользу моей женитьбы.

— Неужели вы все-таки женитесь на Олениной? — любопытствует Вера Федоровна.

— О, нет!.. Меня больше прельщают московские красавицы, которым, кстати сказать, посвящены в альманахе московском стихи: «Портрет». Ты наверное не читал, Баратынский! — Вот стихи,— я их наизусть выучил:

Очи—радость,
Губки — сладость,
Щечки — розы,
Сердце — слезы,
Ручки — лилья,
Ножки — крылья...
Волос — Феба,
Душа — небо,
Жизнь — свобода,
Вся — поирода!

— Подписи под ними нет, но узнаю по ушам: должно быть, князя Шаликова сочинение! И что это значит: «Вся — природа!..» Единственная женщина между нами, Вера Федоровна, объясните!

Но таинственная строчка стихов так и остается без объяснения, потому что лакей, входя в дверь, которая осталась полуотворенной, возглашает:— Их сиятельство...

— Что? Толстой?

И Пушкин, как подброшенный, кидается в дверь, выталкивая лакея.

— Кто, кто? Толстой? — удивляется его стремительности Баратынский.

— Повидимому, он. Я ведь говорил, что у него с Пушкиным какие-то тайности,— улыбается многозначительно Вяземский.

— Должно быть, по части зеленого стола...— пускается в догадки Баратынский.— Ох, проиграет тут, кажется, Пушкин все свои прогоны и никуда не поедет... что может

быть и к лучшему... А вы, Петр Андреевич, серьезно убеждены, что Попп,— полдень английской литературы, а Байрон, и Кольридж, и Мур, и Вордоворт и другие — только вечер? Я вычитал это в тех же «Северных цветах» из вашей «Записной книжки», но принял это за шутку.

— А зачем же мне было бы шутить, дорогой Евгений Абрамович? — лукаво спрашивает Вяземский.

— Ну, мало ли зачем! Хотя бы затем, чтобы озадачить критиков... Я решил тоже как-нибудь отзываться на статьи своих зоилов: молчать хуже...

Входит Толстой-Американец, за ним Пушкин. Он в сильнейшем волнении. Толстой здоровается с Вяземскими и Баратынским. Пушкин нетерпеливо оттягивает его за рукав.

Усмехаясь, тихо говорит ему Толстой:

— Послушай, милый мой, я ведь уже сказал тебе все... Чего же ты еще от меня хочешь?

Так же тихо, как он, но требовательно спрашивает Пушкин:

— А она? Ты не сказал, что же она?

— Она? Я ее не видал, конечно...— И, обращаясь к Вяземскому, добавляет Американец: — Какая скверная погода, Петр Андреич! Не помню, чтобы поднялось такое когда-нибудь в конце апреля! Это Аляска, а не Москва!

Такое сообщение о внезапной перемене погоды пугает Баратынского:

— Неужели? А я — налегке!.. Но ведь я недавно же приехал сюда, было прекрасно.

— Вот то-то и изумительно, что вдруг налетело... Как он поедет на почтовых, этот греховодник, вот что скажите!

— Никак он не поедет, он шутит, что поедет! И кто же его пустит ехать ночью? — смеясь, говорит Вера Федоровна.

Мечется по кабинету в неопределенном волнении Пушкин и вдруг останавливается перед ней:

— Я готов ехать куда угодно, будь хоть ливень и ура-

ган... Мне надобно только написать письмо... Разрешите мне пройти в вашу комнату, Вера Федоровна, там я видел у вас, кроме чернил и перьев, еще и прекрасную почтовую бумагу фабрики Гончарова!..

Не дождавшись ответа, он убегает, хлопнув дверью.

— Федор Иванович! Что такое творится с Пушкиным? — озадаченно спрашивает Вяземский.

— А разве надо объяснять это? Видно же, что влюблен! — отвечает Американец.

— Я только что, только что говорила это! У женщины на это глаз зоркий! И я догадываюсь, в кого он влюблен! В Ушакову Елизавету, правда ведь, а? — сияет от собственной догадливости Вера Федоровна.

Такая уверенность несколько сбивает с толку Американца.

— Может быть, да... Может быть, и в самом деле влюблен в Ушакову! От этого молодца можно ожидать всего, чего угодно! В Лизавету ли Ушакову? Может быть, в сестру ее Катерину?

И, оглядывая Вяземских и Баратынского, вспоминает вдруг Толстой:

— Но мне называли в одном доме и Алябьеву, как его пассию!.. А что, не сделал ли он всего вместе в один сегодняшний день: не объяснился ли обеим Ушаковым, не сделал ли предложения Алябьевой, не посватался ли к Гончаровой, почему и заказал лошадей на ночь? Кажется, именно так! Он говорит одно, делает другое, а думает третье! Да ведь это какой-то Талейран, а не Пушкин!.. И поверьте моему слову, служить ему когда-нибудь в министерстве иностранных дел и быть посланником при австрийском дворе... Это — верно, как дважды два!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Начало июня 1829 года. В одном из загородных садов Тифлиса молодые офицеры и чиновники тифлисских учре-

ждений чествуют приехавшего Пушкина ужином. Это происходит в саду Ломидзе, который и распоряжается чествованием вместе с молодым чиновником Савостьяновым. Ночной сад, который лучше назвать виноградником, так как деревья в нем только по сторонам широкой аллеи, освещен фонарями, прикрепленными к деревьям, и цветными фонариками. На перекрестке этой и другой аллеи высится и сияет сплетение трех букв: А, С и П — вензель Пушкина. Более тридцати человек почитателей Пушкина, «на ловлю счастья и чинов» забравшихся на Кавказ, его окружают. Накрытые столы устанавливаются винами, закусками, корзинами ягод, букетами цветов, серебряными вазами с фруктами. Гремит оркестр. Суетится многочисленная прислуга — все одетые по-восточному — в черкесках и легких шапках. Пеструю смесь азиатщины с уставной военной и чиновничьей формой представляют и костюмы хозяев праздника. Когда оркестр смолкает, раздается сразу несколько голосов:

— Венчать! Венчать виновника торжества! Венчать Александра Сергеевича!

В ответ на это Пушкин кричит притворно испуганно:

— Венчать? Го-спо-да! Что вы хотите со мной делать в этом страшном месте? Моя невеста осталась в Москве!

Савостьянов, при общем хохоте подходя к Пушкину с венком из цветов, объясняет ему:

— Венчать, как архитриклина, Александр Сергеевич!

— Вы будете у нас тамада! — кричит Ломидзе и подносит к голове Пушкина другой венок.— Вот я сейчас надену!

Между тем, над головой Пушкина свой венок держит уже Савостьянов, и Пушкин принимается хохотать весело:

— Но уверяю вас, что у меня только одна голова! Одна, а не две. Одна, ха-ха-ха!

— Лавровый надо венок! Лавровый! — кричит издали Санковский, редактор местной газеты «Кавказ».

— Вот лавровый! — подносит лавровый венок другой тифлисский молодой чиновник Агамжанов.

— Я ожидаю кротко! — скрещивает руки на груди Пушкин, весело оглядывая всех.

Савостьянов берет из рук Агамжанова лавровый венок, говоря:

— Конечно, лавровый, только он где-то запропастился, я его не мог найти.. Александр Сергеич! Мы вас венчаем, как величайшего русского поэта, как нашу славу!

Он торжественно надевает на голову Пушкина лавровый венок. Кругом рукоплещут, кричат «ура». Оркестр играет туш.

Ломидзе говорит Савостьянову, потрясая своим венком.

— Знаешь, мы эти венки, твой и мой, повесим на кресло! А?

— Конечно, конечно, на кресло... Александр Сергеич, садитесь на свой трон! Вот сюда!

И Савостьянов суетливо усаживает Пушкина на высокое кресло, на спинку которого вешает венки свой и Ломидзе.

— Конечно! Теперь я — Серапис! Мне недостает еще какого-нибудь рога изобилия! — шутит Пушкин, но шутку эту подхватывает корнет Батурин и кричит: — Давайте рог! В рог вина налить Александру Сергеичу!

Ему подносят рог, он наливает в него вина из бутыли. Все около него спешат налить свои бокалы. Батурин несет высоко над головою рог Пушкину.

— Вот вам кавказский бокал: турий рог! Рог изобилия!

— Как же я его должен держать, помилуйте! — обхватывает рог обеими руками Пушкин.

— Как можно красивее! Санковский! Речь!

И Санковский проталкивается к Пушкину с бокалом:

— Александр Сергеевич! Я — редактор маленькой местной газетки,— с подъемом говорит он,— но все-таки представитель печати, горд и счастлив, что мне довелось увидеть здесь нашего гения, нашего первого поэта! И все мы

здесь переживаем сейчас счастливейшие моменты нашей жизни... Мы не можем наглядеться на вас, мы не можем наслушаться вас, мы не можем наговориться с вами! Мы все здесь наизусть знаем ваши стихи, ваши поэмы, мы жадно следим за каждой новой строчкой, которая появляется на страницах журналов и альманахов, подписанная вашим именем, и вот мы думаем, мы позволяем себе надеяться, что Кавказ, уже воспетый вами, Александр Сергеевич,— мы помним вашего «Кавказского пленника»,— что этот Кавказ, красавец Кавказ, за обладание которым столько жертв принесено Россией, что он вновь и вновь будет воспет вами! Мы — немые по сравнению с вами! Мы можем только мечтать о тех звуках, в которые вольете вы вот всю эту красоту около вас... Кончатся войны, но останется поэзия! И за величайшую силу в поэзии нашей, за ее бессмертие, вами олицетворенное, за вас, Александр Сергеевич, мы и поднимаем свои бокалы! Ура!

Все кричат «ура» и теснятся чокаться с Пушкиным.

Пушкин тронут. На глазах его слезы. Он бормочет:

— Друзья мои! Я очень счастлив, друзья мои!

Но к нему вплотную проталкивается Савостьянов с бокалом и речью:

— Я хотел бы сказать тоже несколько слов, Александр Сергеевич! Эта ночь в сердце Грузии, прекраснейшей страны — Грузии, страны вина и самых лучших плодов земных, пусть она останется в вашей душе, дорогой наш Александр Сергеевич, как проявление нашей к вам любви,— вот чего бы хотели мы все! Мы нарочно привезли вас сюда,— над нами сейчас только небо, около нет никаких стен, как известно, имеющих уши! Для всех нас поэзия и свобода — одно, вот за что мы так и любим поэзию, вот за что мы так и влюблены в вас, величайшего представителя нашей поэзии — нашей свободы! Не смотрите на нас так, как может быть в глубине души вашей вы и смотрите,— как на людей, пробивающих себе легкие дорожки в жизни! Ведь одни из нас получат кресты в петлицы, дру-

гие — кресты на могилы... Ведь даже и нас, штатских, рассылают по надобностям службы в такие здесь уголки, где даже куры и змеи болеют лихорадкой, от которой нет там, куда случается попадать, никаких средств... Поверьте, что в самые тихие и в самые чистые часы нашей жизни мы берем книжки ваших стихов, мы читаем их и мы... плачем от счастья, что вы живете в один век с нами, и теперь вот мы готовы заплакать от радости, что вы — подлинный и живой Пушкин — сидите с нами за одним столом!.. И мы...

— Будет! Родной, довольно! А то я разревусь, как баба! — кричит Пушкин. Он соскакивает с места и бросается целовать Савостьянова, Санковского и других, кто ближе. Кричат ура. Играет музыка. Все рассаживаются за столы.

— Сейчас подадут настояще-грузинский шашлык! — возглашает Ломидзе.

— Нет! Не настоящий! Александр Сергеевич! Хотите знать, настояще-грузинский шашлык какой бывает?.. Это... это как тифлисские бани, такой же оригинально! Вы в наших тифлисски бане еще не были? — ломаным языком, но быстро говорит другой грузин — Кобахидзе.

— Как же не был? С дороги и не быть? Великолепные бани! — отвечает Пушкин.

Кобахидзе доволен, что Пушкину понравились тифлисские бани.

— Ну вот! Значит видали там, как? Горячий источник — горячая вода, холодный источник — холодная вода! Топить не надо, зачем? И зимой не топят! Горячий источник — те же дрова горят! Тепло. Эт-то была умная грузинская голова — там бани устроила! И мойся, и купайся себе, сколько хочешь! Серная, лечебная вода! И от известных болезней помогает! Да, да!

— И в одной ванне моются может быть двадцать человек! — вставляет Батурин.

— Может быть, сто двадцать — какое дело? Хотите один мыться — купите баню на три часа, никого не пустят,

мойтесь, пожалуйста! — горячо защищает свои бани Кобахидзе.

— Непременно! А чем же баня тифлисская похожа на грузинский настоящий шашлык? — лукаво спрашивает Пушкин.

Общий хохот. Крики: — Браво, Александр Сергеич!

Но Кобахидзе не теряется и не обижен. Он объясняет Пушкину:

— Я сказал: так же оригинально... только с другой точки! Берется для этого целый бык... такой огромный буйвол,— целая туша, и вот ее жарят...

— Как? В печке? — удивляется Пушкин.

— Как шашлык! Такой ог-гонь большой, костер, и на толстый железный прут туша...— ретиво рассказывает Кобахидзе.

— И неужели может прожариться?

— О-о!.. Но в буйволе теленок! — торжественно поднимает палец кверху Кобахидзе.

Пушкин вставляет кротко и терпеливо:

— Я вижу, что теленком не кончится!

Общий хохот покрывает эти кроткие слова поэта.

— Вы совершенно правы, Александр Сергеич! В теленке — баран,— возглашает Кобахидзе.

— Позвольте мне досказать: в баране — индюшка! Так? — спешит докончить Пушкин.

— Гусь! Не индюшка, нет,— гусь!

— Совсем как деревянные пасхальные яйца: в синем — красное, в красном — желтое et caetera! — замечает Пушкин.— Не-ет! От такого шашлыка увольте! Сгореть все это может, конечно, но чтобы прожарилось, как следует, со-мнева-юсь!

Входят несколько человек кавказцев с прутьями дымящегося шашлыка и Кобахидзе, указывая на прутья, кричит:

— Александр Сергеич, вы правы! Этот шашлык лучше того, но только и этот — то же настояще-грузинский! Име-

ретинцы — вот те из простой обыкновенной курицы тоже могут делать чудо: блюдо богов.

И вот, когда все заняты стаскиванием шашлыка с прутьев, и кипит общее оживление, вдруг раздается вдали за деревьями мелодия, производимая каким-то восточным инструментом.

— Что это? — спрашивает, прислушиваясь, Пушкин.

— Это зурна! — объясняет Ломидзе.

— А-а! Какая прелесть! Зурна! — Пушкин даже подымается, вглядываясь в темноту.

— О-о! Зурна!.. Это...— И Кобахидзе поднимает палец и крутит головой. Но тут к мелодичной зурне присоединяется какой-то другой инструмент, более сильный.

— А-а... Это что-то будто бы мне знакомое! — оживляется еще более Пушкин.

— Это волынка... Имеретинская волынка,— инструмент чабанов,— говорит Савостьянов.— Когда они пасут барашков в горах и играют на своих волынках там, на высотах,— это производит большое впечатление!..

— О-о, наши чабаны! Это такой народ, Александр Сергеич,— молодым собакам своим уши режут, в катык... как это сказать? мочáют, собакам кидают,— на, ешь! Собака свои уши — ам! О-очень тогда злые бывают!

— Ка-ак, как? — изумляется Пушкин. — Собственные уши глотают? И от этого становятся еще злее? Ха-ха-ха-ха! Только не говорите, ради бога, этого моим критикам! Ведь они не задумаются отрезать свои ослиные уши и сожрать их, но я-то, грешный, куда же денусь тогда от их анафемской злости!

Хохот разливается от Пушкина дальше и дальше во всю длину столов.

Невидимые в черноте ночи музыканты вдруг оглушают бравурными звуками лезгинки, и несколько офицеров-кавказцев выскакивают из-за столов на освещенный плошками от вензеля круг. Начинается бешеная лезгинка, за которой все следят с неотрывным вниманием.

— Браво! Хорошо!.. Чудесно!.. — подымается подмытый Пушкин. — Ах, как бы я сам сейчас отколол эту лезгинку, если бы умел!.. Чорт возьми, какая увлекательная пляска!

— Александр Сергеич! А что же вы делаете со своим рогом изобилия? — вспоминает Санковский.

— Опустошаю понемногу...— скромно отвечает Пушкин.

— Понемногу не полагается, надо сразу — единым духом!.. Вот ваш брат, Лев Сергеич, отлично это делал, я видел.

— О-о, Левушка!.. Лайон!.. Он это может, я знаю. Он сейчас в армии Паскевича адъютантом у Раевского, в Нижегородском полку... Хочу, очень хочу пробиться туда к нему, да не знаю, позволит ли Паскевич...— Посмотрите, как летает! Без костей! Совершенный мяч!..— Эта вечная просьба позволений! Мне и жить можно только в «Париже» в кавычках, а в Париж без кавычек меня не пускают... Скверная гостиница этот ваш «Париж»!

— Здесь она все-таки лучшая! Ее даже считают лучшей, чем Демут в Петербурге...— вставляет Савостьянов.

— Демут? Ха-ха-ха! — Пушкин хохочет заливисто весело.

Но Савостьянов считает нужным дать ему благой совет:

— Если вам будут так говорить здешние патриоты, вы все-таки не спорьте, бог с ними! Они и Сионский собор здешний считают выше Ивана Великого на пять аршин!..

Санковский же добавляет:

— А князья Багратион-Мухранские ведут свой род непосредственно от царя Давида, и в гербе у них поэтому — праща!

— Ха-ха-ха!.. Совсем как мой друг Дельвиг, который производит себя от Видикинда! — весело вспоминает Пушкин.

— А знаете, Александр Сергеич, здесь есть чудеснейший обычай: в четверг на страстной неделе стрелять из ружей и пистолетов... Во всех грузинских и армянских дворах идет такая стрельба, точно в Тифлисе уличные бои...

Это вызывает обыкновенно панику у новичков из России! — говорит Савостьянов.

— Лю-бо-пытн-но! Кто же в кого и зачем стреляет?

— Стреляют? В Пилата и Кайафу, чтобы отбить у них Христа и до распятия ни в коем случае не допустить! И замечательно то, что хотя сражения эти с Кайафами и прочими Пилатами каждый год кончаются неудачей, все-таки они каждый новый год повторяются!

— Ха-ха-ха! Нет, знаете ли, это просто прелесть что такое!

Пушкин бьет в такт музыки в ладоши и спрашивает вдруг:

— Кто это летает так ловко? Вот этот танцор! Кто?

— Это? Кипиани...— отвечает Санковский.— Поручик Кипиани.... О-о, это плясун!

Слышится чей-то отдельный возглас в конце стола:— Корнет Батурин! Давай закурим!— и сердитый отклик Батурина: — Экий баран! Хотя бы Пушкина постыдился с такою рифмой!

— Браво, поручик Кипиани! — хлопает Пушкин в ладоши. За ним аплодируют все и кричат: — Браво, Кипиани!

Пляской Кипиани заканчивается лезгинка. Усталые танцоры сходятся к столу. Наполняются стаканы. Кобахидзе запевает «Алаверды», и эта национальная грузинская песня подхватывается всеми.

Пушкин, по окончании пения, растроганный, подымаясь со стаканом вина, кричит:

— За Грузию! За прекрасную Грузию! Ура!

Общее «ура»! Крики: За Грузию! — Все чокаются с Кобахидзе, Кипиани, Ломидзе и другими грузинами, а Санковский, сидящий рядом с Пушкиным, говорит ему:

— Александр Сергеич! Вы поедете в действующую армию, может быть познакомитесь там с генералом Панкратьевым. Это — великий службист, у которого все делают по уставу, но он все-таки всеми недоволен: не так делают!

Знаете, как в пении: не доносят, и регент готов разбить зубы хористам... У Панкратьева такой темперамент, что если бы дать ему хор такой, как наш вот сейчас, он бы кинулся всех избивать за то, что не по его поем... И вот, с ним случился такой казус. В Шемахинском округе вздумал он смотр какой-то делать мирным татарам... Съехались татары чест-ней-шие! Скрип от их арб за сто верст! Колеса не мазались со времен Адама! Панкратьев из себя выходит: «Давай дегтя! Пусть мажут колеса, черти!» — Принесли дегтя, роздали татарам мазницы, мазилки — мажут! А Панкратьев готов всех перебить картечью: «Ну, не так мажут! Совсем не по правилам!..» — Выхватил у одного помазок: «Чорт смоленый! Ирод собачий! Разве так мажут? Вот как мажь! Вот как мажь!» — а татарин сзади стоит: «Ай, якши! Ай, чох якши!.. Еще мази, пожалиста, еще мази... Ах, молодца-генерал! Какой молодца!..» И даже по спине нашего Панкратьева начал хлопать: ма-лад-ца!

— Ха-ха-ха!.. Воображаю!.. Прелестнейший анекдот! — очень доволен рассказом о генерале Пушкин.

— Какой же анекдот? Вот при поручике Агееве было!

— Сущая правда, Александр Сергеич! — подтверждает Агеев.— И я даже думаю, не подпустил ли тут наш татарин иронии... По крайней мере Панкратьев так это понял, сшиб его с ног и самого вымазал дегтем. Теперь отличается у Паскевича — командует дивизией.

Ломидзе кричит, подымаясь:

— Господа! Еще шашлыков? Или приказать чебуреков?

И со всех сторон раздаются разноголосые крики:

— Шашлыков! Чебуреков! Шашлыков!

Совершенно удовлетворенный, как будто и не ожидал такого успеха, раскланивается, уходя, Ломидзе:

— Хорошо! Сейчас подадут шашлыков и чебуреков!

— Господа! — подымается Пушкин.— Говорят, что сила испанца заключается в его гордости личной, сила англичанина — в гордости национальной, сила француза — в чув-

стве чести, сила пруссака — в правилах дисциплины, сила турка — в религиозном фанатизме... В чем сила русского солдата, я не вполне знаю.

— В «авось», «небось» и «ничего»! — громко отзывается с дальнего стола корнет Батурин.

— Ха-ха-ха! Это хорошо подсказано! Давайте же выпьем за авось, небось и ничего нашей армии — поднимает стакан Пушкин.

Все кричат «ура»; чокаются с офицерами штатские, идут чокаться с Пушкиным, а Батурин, подойдя к нему, говорит ему убежденно:

— Сила нашей армии, Александр Сергеич, в беспорядке:— это будет точнее! Вот когда будете вы сам в армии, увидите, что порядка у нас нет!

— Как при Гостомысле?

— Да... И благодаря этому мы побеждаем! Кого же? Тех, у кого порядка меньше, чем нет! В этом только и все дело!.. А вы Александр Сергеич, значит, хотите осуществить, не помню уж чьи, стихи:

Гремит призывный барабан,
Окончилось служенье Фебу!
Певец взглянул прискорбно к небу
И спрятал лиру в чемодан!

— Ха-ха-ха! Это некий Коншин... Он тупица и лишен таланта, но эти четыре строчки у него не плохи...

Чей-то зычный голос с конца стола:— Батурин, давай покурим! — прерывает Пушкина, и Батурин, морщась, как от зубной боли, бормочет:

— Боже мой, какой баран! — и отходит от Пушкина на свое место.

А в это время торжественно возглашает появляющийся Ломидзе:

— Ну, вот, господа, кто хочет шашлыков, кто чебуреков, есть и то, и другое!

За ним несут шашлыки на вертелах и чебуреки на горячих сковородках.

За столами общее оживление. Становится шумно. Многие говорят громко, не слушая один другого. Шашлычники и чебуречники обносят хозяев ужина.

— Александр Сергеич! Вам шашлыков или чебуреков?— наклоняется над Пушкиным Кобахидзе.

— Нельзя ли и тех и других? Изумительно вкусные шашлыки! — неподдельно восхищен Пушкин.

— О-о!... А чебуреки? — поднимает палец Кобахидзе.

В темноте издалека как бы набегающими тихо и плавно звуками раздается какая-то восточная мелодия; потом в нее врывается тамбурин и женские голоса, и толпа баядерок появляется на той же освещенной плошками площадке перед вензелем и начинает пляску.

— Кто это? Грузинки? Кто? А? — вскакивает Пушкин.

— Баядеры, Александр Сергеич! Возможно, что они не из Индии, но...— объясняет Савостьянов и улыбается красноречиво.

Восточные танцы баядерок заставляют почти всех выскочить из-за столов и столпиться около танцующих, а когда кончается танец, и баядеры убегают с подмывающим визгом, сопровождаемые раскатом аплодисментов, кое-кто из пирующих бежит за ними вдогонку...

— Прекрасно, отлично!..— восхищается Пушкин.— Кому пришла такая счастливая мысль угостить меня в Тифлисе танцами баядерок?

Санковский кивает на Савостьянова: — Вот автор!

А Савостьянов умоляюще обращается к поэту:

— Александр Сергеич! Ведь вы уже несколько дней в Грузии! Неужели ничего у вас не написалось о ней?

— О ней? О ком «о ней»?.. Да, у меня есть кое-что о Грузии и «о ней», о той, которая там, в Москве...— с готовностью отвечает Пушкин.

И Савостьянов кричит, обернувшись ко всем остальным:

— Господа! Внимание! Александр Сергеич хочет прочитать свои стихи о Грузии!

Хлопают со всех сторон в ладоши и кричат:

— Слушаем! Ждем! Александр Сергеич! Читайте! Читайте!

— Какой вы скорый! Разве так можно?—как бы сердясь обращается к Савостьянову поэт.— Ну все равно... Читаю...

На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною,
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.
Тобой, одной тобой!.. Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может!

Гром аплодисментов. Когда они стихают, голос Савостьянова:

— За невесту Александра Сергеевича! Ура! — и при общих криках «ура» все теснятся чокаться с Пушкиным.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Эрзерум. Дворец сераскира, в котором расположился штаб графа Паскевича-Эриванского. В штабе, большой, но по восточному низковатой комнате с ободранными диванами у стен, столы походные, из палатки командующего армией. На одной из стен развешано оружие, отобранное у пашей при сдаче их в плен. В отворенные окна видны мечети, минареты и плоские крыши домов Эрзерума. Вдали лента реки Евфрата.

В штабе за столом сам Паскевич, который кажется моложе своих сорока семи лет, тщательно выбритый и оде-

тый, невысокий, но с нанранной величавостью в поворотах головы, вскидываньи бровей и твердом зажиме губ, сидит за столом. Перед ним стоит исполняющий обязанности начальника штаба полковник Вольховский, худой, обросший бородою, с кучей бумаг в руках. Доклад его прерван приводом группы знатных стариков Эрзерума, которые в чалмах и халатах, разглаживая седые бороды, спокойно слушают, что говорит русский сераскир их переводчику, армянину в обычной кавказской черкеске. С ними же казачий офицер с саблей наголо.

— Передай им,— говорит Паскевич переводчику,— что я их задерживать, как заложников, не буду... Мне они ненужны... Достаточно с меня пашей, взятых в плен с оружием в руках. Но они, эти вот, должны сидеть смирно в своих домах и никого не бунтовать и ни-ку-да, понял?— ни-ку-да из Арзрума не выезжать до конца войны.... Понял, что я сказал?

— Понял, ваше сиятельство... Итти домой, никого не бунтовать, никуда не уезжать!...—поспешно отвечает переводчик.

— Ну, вот... Так и передашь им... Конвойный офицер! Ведите их отсюда!... И больше никаких мне аманатов не надо...

— Слушаю, ваше сиятельство! — отчеканивает молодцеватый конвойный офицер.

Турки кланяются и все выходят.

— Что еще там у вас?— обращается Паскевич к Вольховскому.

— О движении чумной эпидемии в наших войсках, ваше сиятельство...— отвечает Вольховский.

Это не нравится Паскевичу. Он морщится.

— Чумная эпидемия? Что же чумная эпидемия? Чумный лагерь ведь устроен, как я приказал?

— Чумный лагерь устроен, но число заболеваний растет, ваше сиятельство!

— Война в Азии! Вот что такое война в Азии! В Петербурге этого не представляют?.. Объявить в приказе по армии, что воспрещается нижним чинам общаться с туземным населением... Усилить карантины... Что же еще мы можем сделать?

— Слушаю, ваше сиятельство... Кроме того, лекаря заявляют о том, что развивается горячка...

— Хорошо, хорошо... Горячка, чума... Это все мелочи... А какие донесения из отряда Бурцова?

— Пока никаких. Думаю, что он уже занял Байбурт,— с готовностью сказать приятное начальнику уверенно говорит Вольховский. Но Паскевич смотрит на него недоверчиво.

— Вы думаете? Гм... Лазы — народ воинственный... Едва ли они будут так бежать без оглядки, как сброд сераскира и Гака-паши. И хотя этот ханжа Сакен очень усердно крестил Бурцова, когда он отправлялся... но кого же он не крестил? Что быть Сакену в царствии небесном, в этом я не сомневаюсь, но под моим начальством служить он уж больше никогда не будет!.. Дойти до такой наглости, чтобы себе приписать все успехи двух кампаний, мною проведенных, и об этом корреспондировать в «Journal des Débats» (Повышая голос.) И во время боя не исполнять прямых моих приказаний! Делать по-своему! (Еще более повышая голос.) Видите ли, он и декабристы — это мозг армии! Но ведь если среди декабристов есть дельные люди, как вы, например, или Пущин, не говоря о Раевском, то они мною выдвигались и будут выдвигаться, хотя всем известно, что государь этого не любит! По мнению и воле государя, декабристы тут, в действующей армии, совсем не затем, чтобы нахватать чинов и орденов! Они тут отбывают наказание, и только. Вашей службой я доволен... О вас я сделал представление его величеству...— И граф милостиво глядит на бывшего декабриста, а бывший декабрист кланяется поспешно:

— Покорнейше благодарю, ваше сиятельство!

— Я делаю для декабристов все, что могу! Если они личными способностями и храбростью заслу-жи-вают наград, я немедленно делаю представления... Я выдвинул в генералы Раевского, который хотя и не был судим, но, между нами говоря, ведь тоже замешан в бунте... Я сделал генерал-майором Бурцова... Благодаря мне получил офицерский чин Пущин, хотя это и было трудно: у государя свои разряды декабристов и о-чень хорошая память на эти разряды!

Худой, изможденный Вольховский считает момент подходящим для просьбы об отпуске.

— Ваше сиятельство! Я уже докладывал, что мне необходим отпуск для лечения водами... так говорят врачи...

Но такой поворот разговора не нравится Паскевичу. Он говорит ворчливо:

— Отпуск, отпуск! Всем необходим отпуск! Всей армии необходим отпуск и отдых! И мне тоже!.. Однако кампания еще не кончилась.... Главное, я не имею сведений из армии Дибича, а участь нашей армии решается там, на Балканах... Итти ли нам дальше, следом за Бурцовым, или мы уже выполнили свою задачу... Я вам обещаю отпуск, когда выяснится, что дальше мы не пойдем. Поверьте, что это вопрос двух-трех недель, не больше...

Поспешно входит поручик Абрамович, личный ординарец графа.

— Ваше сиятельство...

— А, вот, кстати, Абрамович... Вы были в гареме Османа-паши?—вспоминает при виде его Паскевич.

— В гареме я был... вместе с поэтом Пушкиным...

Упоминание Пушкина неприятно Паскевичу. Он бьет рукой по столу.

— И здесь Пушкин! Ему и в гарем нужно! Ну, что там? Никого не изнасиловали там наши солдаты?

— Никаких претензий заявлено не было, ваше сиятельство! — вытянувшись, по уставу отвечает Абрамович.

— Хорошенькие есть?—задает игривый вопрос граф, чем заставляет осклабиться Абрамовича.

— Я видел только двух, и то они были под чадрами, и одна, кажется, мамаша самого паши... Пушкину больше посчастливилось: на него— по крайней мере, он так говорил,— глядели откуда-то из слухового окошка несколько... Но красавиц и он не заметил, ваше сиятельство.

— Спрятали!.. А Пушкину сюжет для стихов. Значит, Османа-пашу мы можем успокоить, хотя по дороге к Тифлису пленный паша, должно быть, забыл о женах!

— Ваше сиятельство...— делает движение в сторону графа Абрамович, осерьезив лицо.

— Что такое еще?

— Из отряда генерала Бурцова приехал с донесением...

Паскевич мгновенно преображается.

— Где? Кто? Сейчас же сюда!

Абрамович быстро выходит и тут же входит с поручиком Леманом.

— А-а! Здравствуйте, поручик! — кивает бровями граф.

— Здравия желаю, ваше сиятельство! Честь имею явиться с донесением из отряда генерала Бурцова,—заученно рапортует Леман и протягивает пакет Паскевичу. Тот передает его Вольховскому, говоря Леману:

— Ну, докладывай скорее, что там?

— В сражении под Байбуртом смертельно ранен генерал Бурцов, ваше сиятельство!—быстро выпаливает поручик Леман, и Паскевич откидывается назад, ударяя ладонями о стол.

— Смертельно? А-ах, какая жалость! Смертельно?... Как?.. Каким образом?..

— Выстрелом из пистолета, ваше сиятельство.

— Из писто-лета? На такой близкой дистанции? Почему?.. Кто принял команду?

— Полковник Протасов, ваше сиятельство.

— Ну, вот... смертельно ранен! — обращается к Вольховскому Паскевич.—А может быть не смертельно?

— По мнению старшего лекаря отряда, нет надежды,

ваше сиятельство,— продолжает отчетливо сыпать заученные фразы Леман.

— Ах, эта неизвестность! Ведь кампанию, в сущности, мы кончили! Напрасная, может быть, смерть!.. Что там в донесении?— обращается к своему начальнику штаба граф.

Протягивая бумагу Паскевичу, говорит Вольховский:

— Просит командующий отрядом подкреплений, ваше сиятельство.

Быстро пробегая донесение, поправляет его Паскевич:

— Не только подкрепления, но и провизии и фуража!.. Разве наши обозы потеряны, поручик?

— Нападение на обоз было, ваше сиятельство, но оно отбито,— несколько заминается Леман, и это замечает Паскевич и кричит:

— Не вра-ать!.. Вы, поручик, не ре-ля-цию в Петербург составляете, нет! Вы рапортуете командиру армии!

— Я, ваше сиятельство, докладываю, что мне было известно, когда я выезжал в Арзрум с донесением,— спадает окончательно с бравого тона Леман.

— Но командующий отрядом, видимо, надеется на то, что обозы будут уже отбиты, пока вы вернетесь? — язвит Паскевич.— Где Раевский?— обращается он к Вольховскому.

— Раевский?.. Недавно я видел его с Пушкиным...— порывается Вольховский к дверям.

Новое упоминание о Пушкине окончательно взрывает Паскевича.

— Опять с Пушкиным! Везде Пушкин и все с Пушкиным! Пушкина надо просто выслать вон из армии! Вы можете итти, поручик... Я вас позову, когда будет нужно! (Леман, сказав: — «Слушаю, ваше сиятельство!» и повернувшись по форме, уходит.) А кто просил меня, чтобы я позволил Пушкину приехать в действующую армию? Раевский, конечно! И вот, этот ваш лицейский товарищ, которого солдаты зовут «драгунским попом», он отнимает у

всех время, везде суется и с пикой скачет в атаку!... И когда его убьют, как Бурцова, я еще буду и виноват!.. Благодарю покорно!.. Нет, выслать, выслать!.. Предложить выехать в Тифлис, а там куда хочет,— не мое дело!.. Пошлите и за ним также, пожалуйста!

Когда Вольховский выходит, Паскевич перечитывает донесение, комкает его и швыряет на стол. Входит высокий, сутулый, в очках, Раевский, а за ним Пушкин и сзади их Вольховский. Паскевич кивает им недовольно.

— А-а, ну, вот кстати! Я посылал за вами, Николай Николаич! Здравствуйте! Здравствуйте, г. Пушкин!

— Это мы шли к вам сами, ваше сиятельство! Я слышал, что Бурцов убит! — в сильнейшем волнении говорит Раевский.

— Если и не убит, то смертельно ранен... И, видимо, личная неосторожность: убит из пистолета!.. Вот что я хочу вам сказать.... Г. Пушкин, оставьте нас на минуту... э-э.... у нас тут будет совещание чисто военного свойства...

Пушкин откланивается, недоумевая и говоря невнятно:

— Хорошо, хорошо... Я кстати хотел посмотреть на чумных больных... в нашем чумном лагере.

— Ну, вот! На чумных больных! Нет, вы, пожалуйста, этого не делайте! Погуляйте пока по дворцу... но не уходите: вы мне будете нужны!— тоном приказа говорит Паскевич, и Пушкин уходит.

— Да ведь он был уже где-то у чумных турок! Зачем ему еще чумные? — не понимает выпада своего друга Раевский.

Это подхватывает, глядя в сторону Вольховского, Паскевич:

— Вы слышали? Нет, с ним надо проститься... Генерал Раевский! Вот что я хотел вам сказать. Я думаю назначить вас с Нижегородским полком в подкрепление бурцовскому отряду. Оттуда просят подкрепления, вот вы и возьмете с собой еще горную батарею, две или три сотни казаков, обоз.... там нуждаются в провианте и фураже...

— Слушаю... Я должен буду из Байбурта двинуться на Трапезонт?.. Или в другом направлении?

— Откуда вы взяли Трапезонт? Я ведь вам ни слова не сказал о Трапезонте! — сердится Паскевич.

— Я понимаю, ваше сиятельство, будущую свою задачу только так, что мы должны захватить Трапезонт, чтобы опереться правым флангом армии на приморский пункт, откуда мы могли бы держать связь с армией Дибича при помощи флота...

Это вмешательство в его личную стратегию, вмешательство бывшего декабриста, бесит Паскевича.

— Генерал Раевский! Вы должны слушать то, что я вам приказываю!— почти кричит он.— А я вам приказываю только это: поддержать отряд, бывший под командой генерала Бурцова! Вот и все! И совершенно нечего умничать насчет Трапезонта и каких-то там опорных пунктов на море!

Раевский считает нужным оправдаться. Он становится очень почтителен.

— Ваше сиятельство! Я только хотел уяснить себе дальнейшие задачи похода. Мне кажется, что вы меня просто не так поняли... Задачи похода, конечно, были известны генералу Бурцову, но если он ранен смертельно, то может быть он даже и не успел передать их своему заместителю.

— Как много говорит! Как он много говорит!...— хватается за голову Паскевич.—Хорошо, вы пока можете итти... Я еще не решил окончательно, будете ли посланы вы или кто-нибудь другой... Или может быть по обстоятельствам дела надобно будет отозвать отряд... Граф Дибич — вот кто решает войну, а не я!

— Может быть даже и так, что нам придется уступить и то, что мы заняли здесь... Так что трата людей будет совершенно излишня...— замечает Раевский, как бы сознательно перегибая палку и тем заставляя снова вспылить Паскевича.

— Много говорите, генерал. Много говорите!.. Очень

много говорите!.. Я потом пришлю за вами, если будет нужно... Будьте у себя дома.. и не ездите с Пушкиным смотреть чумных... До свиданья пока!.. И пошлите ко мне Пушкина!

Раевский уходит. Вольховский порывается итти за Пушкиным, говоря:

— Пушкина я видел в соседней комнате...

Но Пушкин входит сам, посланный Раевским. Он входит с поднятой головой и с расширенными ноздрями. Он несколько бледен от волнения. И говорит он обдуманными уже словами, подходя довольно непринужденно к столу Паскевича:

— Я пришел к мысли, граф, что умереть от чумы, действительно, можно где-нибудь и в другом месте... Зачем же непременно в Арзруме? И хотя мне хотелось бы быть свидетелем новых подвигов нашей доблестной армии...

— Армия едва ли пойдет куда-нибудь из Арзрума,— перебивает его Паскевич.

— Да и я достаточно уже утомлен, и мне хотелось бы быть ближе к отеческим гробам... Я решил уехать в Тифлис, принеся вам мою глубокую признательность за вашу обо мне заботливость, граф! (Тут он кланяется почтительно.) К тому же я соскучился по своей невесте, а она заждалась меня... Надо ехать!

— Да, я думаю, что это будет для вас лучше, чем зачумленная турецкая земля, на которой мы с вами находимся.

— Как турецкая? — удивляется Пушкин.— Ведь она уже русская теперь, благодаря вам, граф?

Паскевич считает нужным криво усмехнуться.

— После нас, воинов, приходят дипломаты... Они похожи на портных с очень большими ножницами... И они обыкновенно обрезают лишнее... Подвигов русского оружия вы видели довольно. Надеюсь, виденное послужит вам материалом для новых поэм... Как я говорил уже вам, именно эта мысль и побудила меня разрешить вам приезд в действующую армию... Художник Машков со своим каранда-

шом и кистью, вы со своим несравненным пером,— вы, надеюсь, оставите память в русском искусстве о сделанной нами кампании... Прошу иметь в виду, что я разрешил вам приезд на свой риск: как к этому отнесется государь, я не знаю... Но оправданием мне послужат, конечно, ваши новые поэмы... такие, как «Полтава», например.

— Я думаю, граф, что напишу что-нибудь гораздо лучшее, чем «Полтаву»!

На это отзывается Паскевич небрежно:

— Ну, да, я надеюсь... А в воспоминание о том, что вы видели, я хотел бы подарить вам вот эту саблю!

И он снимает со стены одну из сабель и подает Пушкину.

Этот неожиданный подарок очень нравится Пушкину. Он говорит быстро:

— Благодарю, граф. Это самый лучший подарок, о котором я мог бы мечтать! — Тут же он вынимает саблю из ножен и поворачивает ее, любуясь блеском.— Прекрасная сабля! Это настоящая дамасская сталь! Такою саблей с одного удара можно отсечь голову любому барану!.. Я вам очень благодарен, граф!.. И сегодня же, если получу подорожную, позабочусь о выезде в Тифлис!

Он делает глубокий поклон, держа в одной руке ножны и шляпу, в другой саблю, чем заставляет слегка усмехнуться Паскевича.

— Вложите же ее в ножны! Что значит штатский! Совсем не умеет обращаться с холодным оружием! Прощайте!

Он протягивает поэту руку и добавляет:

— Я не мог уберечь от смерти Грибоедова, и для меня было бы на всю жизнь позором и стыдом, если бы я не уберег и вас!

Пушкин откланивается и уходит, только у самой двери сумев, наконец, вложить кривую саблю в ножны.

Вольховский, улыбаясь, глядит ему вслед, говоря:

— Теперь он будет искать барана, чтобы попробовать на нем саблю!

— Да,— вот ведь и умный человек, но, признаюсь, я буду рад, когда он, наконец, уедет! Скажите, пожалуйста, чтобы подорожную и все бумаги ему выправили сегодня же!

— Слушаю, ваше сиятельство.

— А кто, кстати, его невеста, не знаете? Правда, он мне что-то говорил об этом как-то у меня за обедом, но я пропустил мимо ушей и не вспомню.

— Будто бы красавица... Шестнадцати лет, только-что начала выезжать... По фамилии Гончарова... Из калужских.

— А-а! Шестнадцати лет и красавица!.. Это кое-что объясняет мне в его странностях... Но Пушкин и шестнадцатилетняя красавица его жена, это... это уж, воля ваша, во-об-ра-жаю, что это такое будет!

И позабыв на время смертельно раненого Бурцова, покачивая тихо головой, начинает смеяться Паскевич.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Две смежные комнаты: столовая и спальня Натальи Ивановны в доме Гончаровых в Москве, на Никитской. Комнаты разделены тонкой стеной, и в одной, столовой, сидят за поздним завтраком девицы Гончаровы, Сережа, Катерина Алексеевна, Софья Петровна; в другой, спальне, лежит на диване укрытая до подбородка одеялом Наталья Ивановна, а около нее на стульях сидят две странницы, одетые как монашенки.

ГОВОРЯТ В СТОЛОВОЙ

— Да ведь граденаплевая материя теперь стала больше итти на шляпки... или даже морелевая,— стремится поведать свою осведомленность в модах Катерина Алексеевна.

— Цвета райской птички желтой,— уточняет этот вопрос Софья Петровна.

— Канарейки? — подсказывает шаловливо Сережа.

На что отзывается важно, как старшая, Екатерина Николаевна:

— Да, да... Будто канарейка, райская птичка!

— Да и цвет ведь совсем не канареечный, хи-хи! — считает нужным развеселиться Софья Петровна.

— А какой же такой еще желтый?

— Вовсе это тебя не касается! Пей кофе и уходи к себе в классную! — прикрикивает на брата Александра.

Но Сережа не сдается.

— А я хочу знать, какого именно цвета в раю бывают птички!

Вздохнув, Катерина Алексеевна говорит о модах на дамские шляпки:

— Нет, Сережечка, это совсем не мужское дело!

— Как же так не мужское? Будто мужчины и в рай совсем не попадают, а одни только женщины! Какие хитрые! — шалит Сережа.

— Надоел! Отстань! — обрывает его старшая сестра, а Натали горячо обращается к Катерине Алексеевне:

— Вчера в театре у Щетининой Лидии шляпка была в мефистофельских лентах! Ах, как не идет! Блондинка, и вдруг — мефистофельские ленты!

— А какие же были ленты? Пунцовые с черными зубчиками, или же черные — с пунцовыми? — очень живо интересуется Катерина Алексеевна.

Не менее оживленно отвечает Натали:

— Пунцовые, широкие... и зубчики тоже крупные. Как это совсем не к лицу такой блондинке! И цвет лица от них кажется бледный!

— Ну, что же делать, когда мода такая! — вмешивается Софья Петровна.— Моде ведь не прикажешь, хи-хи-хи! Сделать еще тартинку, Наташечка?

Но Натали морщит свое крупное красивое лицо:

— Не хочу, надоело! Каждый день все одно и то же!

ГОВОРЯТ В СПАЛЬНЕ

Одна из странниц, сидя в почтительном отдалении от Гончаровой, но наклонясь к ней, насколько может:

— И везде-везде там, в Соловецком, чайки белые, матушка-барыня, такие белые, как кипень, как все равно голуби бывают белые... И вот уже до чего насчитано много их там!.. И ты себе хлебушек ешь, а они округ тебя вьются и крыльями тебя задевают и криком — кричат: Дай! Дай!— Очень явственно... И все им бросают кусочки. Налету ухватят, проглотят и опять: — Дай! Дай! — Так от этих крыл белых везде — все в глазах ангелы небесные будто.

— А святые люди между монахами есть ли теперь? — спрашивает Наталья Ивановна.

— Ну, а как же не быть им, барыня-матушка, как же не быть по такому месту? Уж там святость передо всеми обителями в отличку! Ведь остров этот на морях холодных, ледяных, и сколько там монахи на себя трудов на божью обитель принимают, уму непостижимо!.. Также какие из мирян подрекаются поработать святым угодникам Изосиму-Саватию, те тоже там остаются... Рыбка-то, конечно, уж там своя, а ведь хлебушка своно нетути... Да ведь и рыбка — она безногая, сама на берег не выходит, все ее поймать надо. А там же волны подымаются такие видом страшные да холодные,— как же в такой жизни святости не быть? Там и схимников есть несколько, в отдельности по скитам живут...— певуче сообщает странница.

ГОВОРЯТ В СТОЛОВОЙ

О своих наблюдениях, сделанных накануне в театре, говорит приживалкам Екатерина Николаевна:

— А княгиня Орлова-Денисова — вот уж вывезла моду из Парижа: — китайские колокольчики!.. Может быть, при ее небольшом росте это и хорошо, чтобы обращать на себя внимание.

«Ах, как длинно! Боже мой, как это длинно, как скучно!.. И неужели все надо переписывать? Неужели нельзя урезать тут половину?..» — Даже «Переселение душ», и то она спрашивает: «Докуда переписывать? Неужели все?» «Пиши,— говорю,— до точки».— А ведь Баратынский никаких знаков препинания не ставит, кроме запятой. И в конце у него всегда стоит запятая.

— Ха-ха-ха! Прости, голубчик! — спохватывается Пушкин.

— Да, запятая!.. Все-таки нельзя же быть до такой степени беспомощным в грамматике большому, как он, поэту! Он у меня спрашивает вдруг, ты представь: «А что такое родительный падеж?»

— Ха-ха... Ничего, конечно, нет веселого в том, что ты говоришь... Ну, а как же насчет Софьи Михайловны есть у тебя веские подозрения?

— Ну, уж этап подозрений мною пройден, конечно,.. Об этом я тебе не говорил, а вот теперь... Э, какая грязь, грязь какая!.. Дичь! Невероятно! Тяжело, милый!

— Но все-таки, с кем же... она тебе изменяет? — решается спросить Пушкин.

Но Дельвиг умоляюще протягивает к нему руки:

— Нет! Оставь, оставь! Разве можно? Не все ли равно с кем?.. И какое это страшное слово «изменяет»! Грязь, грязь!.. Дичь!.. Я совершенно выбит из колеи!

Пушкин наливает ему вина.

— Выпьем... за то, чтобы все, о чем ты говоришь сейчас, оказалось дичью, а твоя Софья Михайловна — безупречной женой!

Дельвиг горько качает головой.

— Это уж звучит, как явная нелепость! Что же, будем пить вообще за нелепость.

— Друг мой Дельвиг, нелепость уже в том, что мы влюбляемся в женщин, как будто женщина это и не человек, а какой-то, чорт ее знает, серафим, небожитель! А

она — просто мерзость и дрянь! И никто так метко и верно не говорил о женщине, как Шекспир в «Цимбелине»... Карс, Карс!.. подумаешь, какая неприступная твердыня Карс!.. А он, этот Карс, гораздо раньше Паскевича, между нами говоря, очень бездарного генерала, был взят чумою! Сначала пришла туда чума, а потом уж на ее объедки — Паскевич! И совершилось, видишь ли ты, чудо военного искусства: Карс пал!.. А он уж давно готов был упасть и только посматривал, в какую бы ему сторону свалиться! Нет ли где соломки, соломки! Ты не знаешь в Москве такого архивного юношу — князя Мещерского? Платона Мещерского?

— А что этот Мещерский сделал?

— Победил мамашу Карса и взял Карс!.. Так мне передавали!

И Пушкин вскакивает и начинает метаться по комнате.

— Не понял я, о каком Карсе ты говоришь...

— Чорт с ними, все равно! Выпьем за падение Карса!.. И за всех Паскевичей и Мещерских, чорт бы их побрал!.. Я просился в январе за границу или даже чтобы в Китай хотя пустили с русской миссией... Из Китая, разумеется, можно бы было вырваться куда угодно, только бы не оставаться в моем милом отечестве, где чорт меня догадал родиться с умом и талантом!

— Бенкендорф отказал, конечно?

— Еще бы не отказал! Они с царем еще из-за Арзрума не перестали на меня дуться. Моя ссылка на Паскевича, конечно, не помогла. Мало ли что Паскевич? Как смел я у Паскевича проситься, когда есть царь, без воли которого в России и общественного нужника не смеют построить.— Что? Нужник? Давай проект на высочайшее утверждение! И план, и фасад, и смету! И какой архитектор составлял проект? Не бывший ли декабрист?.. Как могла появиться в голове Пушкина столь дерзкая мысль, ниспровергающая власть и законы, проситься в действующую армию, к-о-то-рая загра-ницей?! Вот в чем тут было дело! За границей,

да! И вот, за границей я был! Был, да!.. А что, мерзавцы? А? Как я их подвел, Дельвиг! Как я их одурачил!.. Не смеют теперь уже сказать, что не пустили, мол, Пушкина за границу!.. Был за границей Пушкин!.. Был, сукины дети!.. Я когда переехал пограничную речку Арпачай, и сказал мне казак-вестовой: — Вот уж мы и в Турции, ваше благородие! — у меня сердце запрыгало от радости: наконец-то перешел я русскую границу... А знаешь ли, все-таки веселая штука война: смерть около тебя так и вьется и жужжит, как шмель.

— Можно подумать, что ты и ездил только за тем, чтобы быть к ней поближе! — отзывается угрюмо Дельвиг.

— Может быть... Я когда с пикой гнался вдогонку за турками, ты знаешь, я ведь был от смерти на волосок! Турки в меня стреляли... И если бы не Семичов, нижегородец, который со своим эскадроном меня выручать пустился, может быть, мы и не говорили бы с тобой теперь, мой милый!

— Веселого в нашем разговоре мало...

— Да. Немного, ты прав... Мой Карс скачет и пляшет в Москве на всех балах. «Литературная газета» нам с тобою не удается...

— А забот с нею — выше головы!.. И не лучше ли ее прекратить нам самим? Ведь она никакой прибыли не дает! И чорт с ней!

— Зачем же спешить? Ведет ее Сомов и пусть его ведет... Нет в России интереса к литературе, но может быть появится? Должен же появиться когда-нибудь, а?.. Но князь Платон Мещерский каков? Вот тебе и архивный юноша! Что если ему в самом деле удалось, чего не удалось мне! Вот будет афронт! Эх, брат! Давай выпьем за погибшую для нас красоту!

Он перестает кружиться по комнате, хватает стакан, тянется чокаться.

— Я все-таки не теряю надежды, что Сонинька...— упорно глядя не на Пушкина, а в свой стакан, бормочет Дельвиг.— Как же так, подумай! Ведь пять лет общей

жизни! Не мало! Литературный труд... Ведь она об этом труде мечтала, когда была девицей. Я доставал ей книги, она много читала... И вот... вот что из этого вышло!

— Знаешь ли что, Дельвиг? Тряхнем стариной, поедем к девкам! Это лучшее лекарство от наших болезней! — вдруг предлагает Пушкин.

— Ну, что ты, что ты! С ума сошел! — пугается Дельвиг.

— Вот тебе на! Чем это плохо? Махнем к Софье Астафьевне! У нее порядочная кунсткамера девиц.

— Ты — другое дело, ты — холост, а я...

— Женат? Что из того? Допустим, что даже ты самый счастливый из мужей, но позволь, позволь!.. Это не ты ли когда-то приглашал к девицам Рылеева, а? Не тебе ли он ответил точно так же: «Помилуй, брат! Я женат!» — А ты что ему сказал на это?

— Ну, уж не помню.

— Я тебе напомню!.. Ты тогда был весел и холост, и ты сказал так: «Почему же тебе не съездить к девицам, хотя ты и женат? Разве ты никогда не обедаешь в ресторации, хотя у тебя дома и есть кухня?» — Вот что ты ему сказал, покойнику! Это было прекрасно сказано! Позволь мне повторить это тебе же самому!

— Грязь, грязь!.. Дичь! — машет руками Дельвиг.

— И если уж это средство не поможет, то чорт тебя возьми!!.. Раз ты женился, ты должен был иметь в виду друзей! Это закон, его же не прѐйдеши!.. Правда, Софья Михайловна была всегда так нежна с тобою, что...

— Ах, у нее такое золотое сердце!.. Послушай, ради бога, никому не говори, что я тебе сказал тут под пьяную руку! Очень прошу!

— Ну, зачем же я буду говорить это? Говорить то, что, должно быть, всем и без меня известно, так как мужья об измене жен узнают последними, это старо, как мир!

— Но разве же Сонинька мне изменила? Ты разве слышал об этом? — вдруг очень тревожится Дельвиг.

— Ты же сам только-что сказал, чудак ты!

— Нет, это только мои предположения... Пожалуйста, сделай из этого тайну! Даешь мне слово? — хватает Дельвиг Пушкина за руку.

— Хорошо, хорошо, отчего же!.. Вот допьем и поедем.

— Мне не хочется никуда отсюда ехать... У тебя тут такой хороший...

— Кабак, ты хочешь сказать? Да, довольно уютный. Кстати, знаешь, как Вяземский сострил насчет Приютина, имения Олениных? «Или тебя Оленины не хотят уже приютить в своем Приютине?..» Но от Олениной, между нами говоря, я отказался сам! Я только разыграл комедию, будто мне отказали. Надо же было пощадить девическую репутацию. Вот почему вышло так, что и Оленины говорят: «Мы отказали Пушкину!» — и Пушкин говорит! «Да, мне действительно отказали!» — Чорт с ними! Мне-то что? Не мне замуж выходить, а ей. А на меня, должен тебе сказать, напал великий страх, как только я увидел, что и она согласна, и все они согласны... Нет, как хочешь,— свобода, свобода,— разве можно променять ее на какие-то кисейные тряпки и мокрые пеленки? Так, представь, что ты опять свободный казак, и едем к девкам!

И Пушкин обнимает Дельвига, пытаясь стащить его с места, но тот твердит:

— Как хочешь, я не поеду!

— А что же ты намерен делать?

— Буду сидеть здесь, пока ты меня не прогонишь.

— Чтобы я стал гнать моего Дельвига? Нет! Но если Магомет не может притти к девкам, то девки-то, чорт их возьми, могут ведь притти к Магомету! Отчего нам не пригласить дежурных? Есть ведь такие, что дежурят около трактира! Я сейчас!

И Пушкин делает попытку броситься к двери, но Дельвиг крепко держит его руку.

— Не надо, милый!

— Как это не надо? Надо!.. Но чтобы я сложил свою

свободу к ногам Карса, ни за что! Пусть она выходит замуж за Мещерского, пусть ее атакует даже сам царь, который оказался не очень горазд брать настоящие Карсы, а также Шумлы и даже Варны!.. Воин!.. Не-до-ста-точно быть трех аршин росту, чтобы играть роль Петра Великого! Надо иметь еще и гений, о чем цари вообще забывают... Итак, я сейчас скажу, кому надо, ты посиди, подожди...

И Пушкин, высвободившись из рук Дельвига, быстро выбегает из комнаты.

Оставшись один, Дельвиг снимает очки, долго протирает их платком, надевает, осматривается кругом и бормочет:— Чорт, как плохо видно!— снова снимает и протирает, потом лениво пьет вино..

Пушкин вбегает веселый.

— Ну, вот, долго ли? сейчас будут!.. Сказал, чтобы хоть каких-нибудь, рублевых, что ли, все равно. И не беспокойся, мигом будут! По крайней мере, уважать можно: продаются открыто, а не под всяким флером и вздором и фиговым листом! И никаких вопросов о том, как к тебе относится царь, да что ты хотел сказать в стихах «На смерть Андрэ Шенье»! Ка-ку-ю было историю раздули из-за этих стихов! Однако могут начать новую историю из-за двух-трех строчек в каких-нибудь новых стихах... Нет конца! «Бориса Годунова» царь запретил печатать «за тривиальность выражений» и чорт знает за что еще! Кажется, просто смута 1605 года напомнила ему «14-е декабря»... Вот, видишь, как хорошо, что я один, как перст! А если бы был женат?

— Стал бы писать оды на тезоименитства их величеств... И так уж твою «Полтаву» кое-кто зовет «Болтавой»...

— О, мой Дельвиг, как ты сегодня желчен!.. Полтава-Болтава... Да, говорят. И я уже слышал это.

Он наливает Дельвигу вина, и тот вдруг с подъемом тянется с ним чокаться:

— Выпьем за то, чтобы с меня сняли очки! Все девицы, все женщины вообще казались мне красавицами, когда я ходил без очков! И какое же страшное... количество... уродов... появилось на свете, когда я надел вот эту гадость!

Он срывает с себя очки и пытается кинуть их на пол; Пушкин хватает его за руку.

— Погоди! Не бей! Они тебе еще пригодятся! А вот когда придут сюда девицы, ты очки сними, потому что едва ли они будут красавицы! Много ли купишь красоты за рубль?

— А они, может, и не придут!

Прислушиваясь к шагам в коридоре, говорит Пушкин:

— Кажется, уже идут!.. Я ведь сказал тебе, что они дежурят у подъезда!

Раздается стук в двери.

— Можно, можно! Входите! — кричит Пушкин.

Раздвигаются драпри и входят две девицы в поношенных бурнусах, в теплых шалях. Быстро оглядывая комнату и двух в ней мужчин, держатся они наигранно развязно.

— А-а! Парочка к парочке — селезень к гагарочке! — говорит первая девица.

— Ого! За вином не посылать, есть! — добавляет вторая.

Быстро раздеваются они, бросая шали и бурнусы на диван.

— Каковы, а? — подмигивает Дельвигу Пушкин.

Дельвиг надевает было по привычке очки, но тотчас же их снимает.

— Лучше без очков!.. Куда бы их сунуть, чтобы не разбили?

Он ищет места для очков и кладет их на подоконник. Первая девица подходит вальковато к столу:

— Ну, здравствуйте, будем знакомы!

Она подает руку Пушкину, потом Дельвигу и не может не вскрикнуть о Дельвиге:

— Ах, белый какой да толстый, похожий на немца! Очень мне такие нравятся!

Стремится, обняв Дельвига, усесться к нему на колени, но он испуганно отодвигает ее на стул рядом.

— Садись-ка вот здесь, красавица, а то у меня колени болят!

— Уж видно какие-то до нас отсидели! — находит что сказать вторая девица.— А мне вот такие кудрявые нравятся! Этот барин как-раз посерёдке по мне! — И она облапливает голову Пушкина.

Она смешит Пушкина и своими ухватками и словечками.

— Ха-ха-ха! Слыхал, Дельвиг? «Как-раз посередке по мне»!

— Чорьть-те што, какие зубы белые, как белоглиняные! Мне бы дал, а то у меня спорченые! — не устает восхищать Пушкина вторая девица.

— И «чорьть-те што» хорошо! В какой же это губернии так говорят? Постой, постой, сейчас вспомню!

И Пушкин щелкает пальцами, вспоминая.

— Она кирсановская мещанка родом,— приходит первая ему на помощь.

— Ну вот, я и хотел сказать — Тамбовской губернии! Значит, Баратынского землячка!

— А губы какие красные! — продолжает разглядывать потомка арапа кирсановка.

В тон ей тянет Пушкин:

— А баки какие длинные!.. Ну, хорошо, познакомились! Тебя как звать? Катя?

— Угадал мое имя! — восхищается первая, которая с Дельвигом.

— А я и вовсе Варя,— сообщает вторая.

— Ну, хорошо и прекрасно... Катяваря, Варякатя, Варякатя с Катяварей... Дельвиг!.. А хороши ведь, а? Весьма непосредственны!

— Чтой-то мы ему не по нраву?—спадает с тона первая девица.

— Говорят тебе, ему уж наша сестра коленки все отсидела,— повторяет свое вторая. Пушкин хохочет.

— Ха-ха-ха! А ведь правда! Коленки у него, действительно, отсижены, а так он малый ничего, веселый... Он разойдется!.. Дельвиг, угощай свою даму! Что ты устремил на нее созерцательный взор? Ей-богу, она очень мила!

— Сразу видать, что из немцев: по-нашему говорить не может,— пытается задеть Дельвига вторая девица, чем веселит Пушкина.

— Ха-ха-ха! Посмотри ты, какой у них глаз наметанный!

Дельвиг же, вдруг пораженный, упорно глядит на вторую девицу и говорит тихо:

— А знаешь, она очень... очень похожа на Сониньку! Даже страшно!

И в подлинном испуге, дрожащей рукой тянется он за очками.

Пушкин подхватывает это, останавливая его руку:

— Точь в точь сестры! Я, знаешь ли, тоже удивлен! А что, если они дочери одного отца? Только одна — законная, другая — беззаконная... Но я ведь могу тебе ее уступить... Подсунь мне свою Катюварю, а себе возьми эту Варюкатю!

— Нет, что ты, что ты! Страшно!.. Послушай, я лучше пойду домой!

Дельвиг пытается подняться, но Пушкин не позволяет ему подняться.

— Что ты? Что ты? Надень очки и сиди!

Он достает очки с подоконника и подает Дельвигу. Тот поспешно их надевает и глядит на вторую девицу.

— Ну, что, Тося? Похожа на Сониньку?

У Дельвига обрадованный вид:

— Нет! Совсем нет!.. Ни малейшего сходства!

— Ну, вот то-то же... Налей-ка вина своей Варекате! Она, право, хорошенькая!

Дельвиг наливает ей вина дрожащими руками и бормочет:

— Как я испугался!.. Как много показалось скверного!.. Выпьем?

И он нежно гладит свою девицу по острому плечу.

— Давно бы так! Явственный немец, не знает, как с девицами обращаться! — поощряет его первая, отчего Дельвиг впадает вдруг в игривый тон:

— Я не знаю? Не-ет! Я знаю! Я-то знаю!.. А ты посмотри, какие у этого барина когти! Видишь?

И показывает на ногти своего друга.

— Батюшки-господи! Как у чорта! — всплескивает руками первая и кричит подруге:

— Варька, гляди!

Удивляется, шлепая в ладоши и другая:

— Мамушки! А я не заметила!.. Как у чорта!

А Пушкину весело:

— Ха-ха-ха! И где они видали чорта? Вот счастливицы! А мне ведь никогда не случалось!

— И зачем такие отпустили? Ножниц, что ли, нет? Приходи ко мне, я дам! — советует первая девица.

— У чертей, признаться, таких когтей я тоже не видал, а вот у одного покойника случилось видеть.. Это я в Ревеле... не знаешь, есть такой город у нас — Ревель? — обращается к своей Катеваре Дельвиг.

— Я слыхала! — заявляет другая.

— Ну, вот... В Ревеле, в старом соборе... В нем уж теперь не служат, и это не русский собор... И вот в нем лежат такие мощи...

Но первую девицу возмущает такая явная нелепость:

— Как это? Не русский собор, и вдруг мощи в нем! Вот врет, только не на дурочку напал!

Это веселит Пушкина:

— Ха-ха-ха! А что, брат Дельвиг? Это тебе не лицеисты, чтобы им истории всякие выдумывать!

— Сущая правда! Если бы я это придумал! Сам видел, своими глазами!— убеждает он Катюварю.

— А в очках тогда был или без очков? — справляется та.

— Браво! Ха-ха-ха! Пей! Ма-лад-ца! — кричит Пушкин.

Но Дельвиг продолжает спокойно:

— Был я в очках и отлично все видел... Мощи эти были одного герцога дю-Круа, герцога, понимаешь? (Тормошит первую девицу.) Это даже больше, чем князь! Но был он великий грешник: не платил никому долгов. И накопилось за ним целых восемьдесят тысяч талеров долгу! И вот духовенство выставило его за такой грех из собора да на мороз! Покойник промерз, как железо... А потом сунули тело его в такую селитряную пещеру!.. селитряную, поняла? Он там проселитрился, как ветчина... Да так и остался, какой был умерши. Только ногти отросли у него, как вот у этого грешника. (Показывает на Пушкина.) И лежит он в соборе нетронуто, как вчера умер, вот уж 125 лет! И его показывает там кистер за деньги... Поезжай как-нибудь, если наберешь денег, увидишь.

— Вот соврал-то — недорого взял! — не верит вторая девица, а первая девица, показывая пальцем на Пушкина, хохочет:

— А у этого-то какие же ногти вырастут, как помрет? В аршин, ей-богу, в аршин! Мамочка! Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — вторит ей Пушкин.— А мне и в голову не пришло такое! Ма-лад-ца! Пей!

— Гитары нет у вас тут? А то бы сыграли...— заученно спрашивает одна из девиц, но раздается стук в двери.

— Никак стучат? — говорит другая.

Кто-то пришел совсем не во-время, и это сердит Пушкина:

— Какой там еще чорт? Вот уж некстати!

Но он встает и идет к двери, запахивая халат.

Тем временем вторая девица справляется у Дельвига:

— Насчет мощей-то немецких соврал, али правда?

— Истинная правда,— отвечает, прислушиваясь, Дельвиг.

— Поэтому он святой, этот... князь? — любопытствует девица.

— Первостатейный мерзавец! — отвечает Дельвиг.

Отворяется дверь. Входит Пушкин и с ним Лужин, его знакомец по Москве.

— Г. Лужин, из Москвы...— возбужденно говорит Пушкин Дельвигу.— Это Дельвиг... барон Дельвиг, поэт.

Лужин и Дельвиг подают друг другу руки. Лужин смотрит на девиц, девицы на Лужина.

— А это — Кативари...— продолжает Пушкин.— Они сейчас уйдут... Раздевайтесь! Садитесь.

Лужин, улыбаясь конфузливо, садится было, но тут же встает.

— Нет, я ведь только на одну минуту, Александр Сергеич! И раздеваться не буду, простите! Меня ждут внизу мои... с кем я сюда зашел... Я просто выполняю поручение Вяземского, Петра Андреича... На одном балу видал я м-м Гончарову и дочку ее, Натали...

— Как? Натали, Натали видали? — весь так и вскидывается Пушкин, просияв необычайно.

— Да, и по строжайшему приказу Петра Андреича заговорил с ними о вас,— сообщает Лужин.

— Обо мне?.. И что же? Что они? — меняясь в лице, спрашивает поэт.

— Обе они, и мать и дочь, передавали вам поклон... Сердечный поклон... это было подчеркнуто мамашей... сердечный!

— Неужели? — попеременно то бледнеет, то краснеет Пушкин.

— Очень им хотелось знать, когда вы соберетесь опять в Москву...— продолжает Лужин.

— В Москву? Вот какое совпадение желаний! Я... Я сегодня ночью собирался ехать в Москву! Я совершенно

собрался было ехать в Москву, да вот пришел он... вот пришел Дельвиг и задержал... Родной мой! Какую вы мне привезли радость! — И Пушкин бросается обнимать Лужина.

— Я очень рад, что вас обрадовал, Александр Сергеич!.. Однако мне надо итти к своим... Ждут меня, исловко... До свиданья!

Он прощается с Пушкиным и Дельвигом и идет к двери. Пушкин его провожает.

— Это какой такой мужчина? — спрашивает встревоженно первая девица.

— Не знаю... Из Москвы кто-то,— отвечает Дельвиг.

А вторая девица вдруг запускает руку в конфеты, советуя первой:

— Катька! Бери и ты! Чего сидишь зря? Можно? — справляется она все-таки у Дельвига.

— Бери, бери, ничего.... Хозяин добрый,— отзывается Дельвиг.

— Ну, решено! Еду в Москву! — кричит вбегая Пушкин.

— Вот тебе на! Завтра! — удивляется Дельвиг.

— Как завтра? Сегодня! Сейчас!.. Вот что, девы! Берите себе все конфеты! И все орехи! И денег вам сейчас дам! И бегите! Бегите!

Он достает кошелек, отсчитывает деньги.

— Вот так раз! — удивляется одна из девиц.

— Что ты выдумал? Куда ты поедешь ночью? — не хочет верить Дельвиг.

— Как куда? Как куда, милый мо-ой?.. К Натали! В Москву! Ты ведь слышал? На штурм Карса! Дельвиг, Дельвиг! А что если Карс и в самом деле будет взят мною?

И он обнимает Дельвига, срывает его с места и начинает вертеть его по комнате.

Девицы с конфетами и орехами в обеих руках стоят, вытаращив на Пушкина глаза.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Москва, 5 апреля 1830 г., суббота страстной недели. Дом Нащокина. Довольно большая комната, очень затейливо и вполне безалаберно обставленная. На стенах портреты Нащокина, работы многочисленных молодых художников, которым покровительствовал Нащокин. Кроме того, портреты его сожительницы цыганки Ольги Андреевны; изображения его лошадей и охотничьих собак. Всюду масса безделушек и украшений, также старинное оружие и прочее.

В комнате Нащокин и Пушкин перед двухъэтажным стеклянным домиком, весьма изукрашенным.

— Поразительно! Сколько мастерства! — восхищается Пушкин.

— Работали мастера Вены, Парижа, Лондона.... Обошлось это мне в сорок тысяч рублей... А ведь, пожалуй, если начать продавать такую вещь, никто и десяти тысяч не даст, а? — спрашивает Нащокин.

— Разве можно продавать это! Кощунство! Это будет у тебя фамильная редкость. Перейдет к твоим внукам и правнукам! Изумительнейшая вещь!

— Если бы кто дал свою цену, я бы все-таки продал!.. На свете изумительных вещей вообще гораздо больше, чем денег,— философски замечает однолеток Пушкина Нащокин.

— Что? Проигрался? — догадывается Пушкин.

— Главное, совсем не во-время, вот что досадно! Тут праздник заходит, масса всяких расходов, и вот... Да ничего, конечно, как-нибудь обернусь...— объясняет ему Нащокин.

— Ты обернешься, конечно, я верю! Если бы у меня были деньги, я бы тебе ссудил... Уверен, что это пустяки! Или наследство какое-нибудь получишь, а?

— Раскидывал я в уме, от кого бы можно было ожидать наследства, что-то не вспомню... Ну, да уж кто-нибудь

найдется, помрет и оставит, обойдемся... А ты письмо написал Гончарихе, как собирался? — вспоминает о деле друга Нащокин.

Пушкин, вынимая из кармана сюртука письмо, машет им нерешительно:

— Вот оно! Только не знаю, отсылать или нет?

— Как же так не отсылать? Раз письмо написано, то его надобно отослать. Это у меня мигом сделают Василий или Петька.

Он отворяет дверь и кричит:

— Василий! Ва-си-лий!.. Петька!.. А вам что надо? — меняет он голос.

Чей-то густой раздается бас за дверью: — Мне бы только на Пушкина посмотреть!

И тут же голос Нащокина:

— Нечего на него смотреть! Ва-си-лий!

Однако тот же голос жужжит настойчиво:

— Кто-то сказал: Пушкин пришел к хозяину! Ну вот я и...

И из-за плеча Нащокина просовывается чья-то взлохмаченная голова.

— А-а! Пушкин! Пушкин! — кивает голова и исчезает, потом довольный голос Нащокина:

— А-а! Петька! Ну, хотя бы ты... А то кричу и не могу дозваться.

И вот Нащокин пропускает Петьку и затворяет дверь, а Петька говорит не менее философски чем его барин:

— Как же можно, барин, вам дозваться, когда полный дом разных народов, и у всякого, барин, своя фантазия!

— В самом деле, Войныч, очень много что-то у тебя всяких,— соглашается с Петькой Пушкин.— Я проходил, видел... кто такие?

— Ну, где же мне знать всех, кто они такие? Один влезет, глядишь, кого-то другого притащил... Этот, в дверь заглядывал, артист какой-то. И еще, кажется, есть пятеро

артистов... Потом художники... Все, конечно, народ талантливый,— объясняет Нащокин.

— Видно, что таланты! Ну, так вот, письмо! Это, Петя, письмо для меня такое дорогое, что если ты его потеряешь...— пронзительно смотрит на Петьку Пушкин.

— Ну, вот, барин, как же можно письма терять! Что я, пьяный? Под пасху пьяных не бывает, что бог даст завтра! — отвечает Петька.

— Тут написано: «В собственные руки»... Ты постарайся добиться, чтобы непременно самой барыне Гончаровой. Скажи, что от меня, и слушай, что она скажет,— наставляет Пушкин Петьку.

— И чтобы в точности вам передать! Это я все сделаю... А итти мне в какой конец? — справляется Петька.

— По Большой Никитской, угол Скарятинского переулка... Угольный дом.

— А случится если — барыню не застану?

— Как не застанешь? Нынче все барыни дома сидят, куличи пекут,— разъясняет Нащокин.— Иди! — И Петька уходит.— А вот я свою ораву чем буду завтра кормить? Впрочем, разговеться-то им дадут, кажется, а уж на всю неделю не хватит! Стыд и срам дому Нащокина!

— Может быть, разойдутся куда-нибудь? — пытается помочь делу Пушкин.

— Часть, я думаю, разойдется, а зато другие к себе гостей приведут...— печалится Нащокин.

Это заставляет Пушкина сказать энергично:

— Эх, я бы на твоем месте с каким бы удовольствием прогнал всю эту сволочь ко всем чертям!

Но Нащокин ужасается:

— Скандал, что ты! Как их прогнать? Они все люди способные... Да и не такие вредные, когда у меня деньги бывают.

— Хотя ты и всеобщий наследник, но, послушай, так ведь тебе никаких наследств не хватит! Разве что от графа Строганова!

— Что наследства... Не так давно долг получил карточный — тридцать восемь тысяч, вот я удивился! Уж я о нем и забыл, вдруг — что такое? — получаю! — и Нащокин разводит руками, снова переживая эту приятную неожиданность.

— Хорошо, получил, и что же? — оживляется Пушкин.

— Проиграл... Очень не повезло... И последние деньги выиграл, знаешь кто? Павлов, сочинитель.

— Ка-ак? Тот, который стихи пишет?

— Павлов... да... Я ему ставлю уж потом карету Ольги... Пошла к нему карета! Я ставлю вяток буланых. Поскакали к нему буланые! И хотя бы совесть имел, подождал со двора сводить, а то ведь утром же — мы до свету играли — только вышла Ольга с сынишкой, приказала заложить буланых в карету, кататься, или в ряды, он является. «А-а, запрягли уж,— говорит,— ну, вот, и прекрасно!» — Сел в карету, кучера своего на козлы, и помчал! Даже и шапки не снял на прощанье, вот до чего спешил! Такую мне Ольга за это перепалку задала!

— Не-да-ром у него такой унынье наводящий лик! Вот так Павлов!

— И Ольга со мной за это с воскресенья не говорит и смотрит фурией! — жалуется Нащокин уныло.

— Знаешь что, Войныч, женись, брат! — советует Пушкин.— Жена заведет у тебя порядок. Всех этих артистов и начинающих художников и всяких пропойц, какие у тебя тут поселяются, неизвестно зачем, выгонит в три шеи!

— Куда же она их выгонит? Если бы им было куда итти, они бы и сами ушли...

Тут за дверью опять раздаются какие-то крики, потом отворяется дверь, и один взлохмаченный втаскивает за рукав другого и кричит:

— Павел Войныч! Этому скоту, вот... ему... внушите вы правила приличия!

— А вы сами... вы-то правила приличия знаете? — спрашивает Нащокин.

— Не знает, нет! По-ня-тия не имеет, подлец! — орет второй.

— Вы видите, что у меня гость! Пожалуйста, идите отсюда! — упрашивает Нащокин.

— Тысяча извинений! — галантно кланяется первый, и оба уходят.

— Эти кто такие? — спрашивает удивленно Пушкин.

— Этих совсем не знаю... Должно быть, недавно влезли.

— Ха-ха-ха! Ты хотя бы ради завтрашнего праздника посчитал их! — советует Пушкин.

— Я полагаю, что дворецкий мой их все-таки считает...— соображает Нащокин.

— Да ведь у тебя тут может быть притон фальшивомонетчиков, воров, грабителей!.. Может быть их давно полиция ищет! — беспокоится за друга Пушкин.

— А может быть и ищет! Чорт их знает! В самом деле ведь, прикинется художником, а на самом деле фальшивые сторублевки делает,— спокойно говорит Нащокин.

— Нет, женись, женись! Одно средство!

— Покажи дорожку, а потом уж и я!

— Знаешь, что я думаю? Я пойду завтра христосоваться с Натали! Так и быть уж, заодно и с ее мамашей. Только фрака у меня нет, вот беда. А у тебя нет ли лишнего? Ведь мы с тобой одного роста.

— Отчего же нет у меня фрака лишнего? Я тебе могу даже подарить фрак... Чтобы не было у меня фрака! — воодушевляется Нащокин.

— Ну, вот, ну, вот, и хорошо, и прекрасно! Ты знаешь, Натали я видел недавно, на той неделе, в концерте... Говорил с ней. Ах, она изумительна! Бывает красота — просто талант, а у нее — гений, гений!

— Так что если ты, положим, женишься, то что же это будет такое? Ты — гений поэзии, она — гений красоты, два гения в одной квартире!.. Есть такая пословица насчет двух медведей в одной берлоге! — качает головой Нащокин.— Главное, чтобы она не приучалась тебя по щекам

бить, а то моя Ольга так меня угодила по левой ланите за эту пару буланых и карету!.. Нехорошо. Я на нее за это тоже сердит.

— Ха-ха-ха! Войныч, Войныч! На-та-ли?.. Это чтобы Натали и по левой меня ланите? Ка-ак ты далеко смотришь!.. А знаешь что? Я, пожалуй, согласился бы и на это, только чтоб не отказали завтра! Но ведь откажет, откажет эта ведьма, ее мамаша! Непременно откажет!.. А ты женись! Непременно женись!

Дверь из внутренних комнат размашисто отворяется и входит цыганка Ольга, богато, но пестро одетая.

— На ком это, на ком ты ему жениться советуешь, а? — накидывается она на Пушкина.

— На тебе, Ольга Андреевна! Здравствуй!

Ольга гневно глядит то на Пушкина, то на Нащокина, который отворачивается, отойдя в сторону, и начинает тихо насвистывать какой-то мотив.

— Же-нить-ся? А я, может, теперь за такого и не пойду совсем! Женить-ся!.. Чтоб он и меня на карточку поставил?..

Нащокин продолжает насвистывать. Ольга подбочеинивается.

— И-ишь! Сви-стит! Страшна̀я суббота у людей считается, а он себе сви-стит! У-у, не-христь!

— Если ты не хочешь за него выходить, Ольга Андреевна, значит, ему надо жениться на ком-нибудь другой, а? Чтобы хоть научила его не свистеть по субботам! — пробует укротить ее Пушкин, но Ольга кричит:

— На другой?

Впадая в ярость, она топает ногою.— Пусть, пу-усть! Пусть только попробует на другой! Но-жо-ом зарежу! — и убегает, сильно хлопнув дверью.

— Видал, какая,— тихо обращается к Пушкину Нащокин.

— Очень страшная! Как ты с ней живешь и не боишься?

— Разве я тебе сказал, что не боюсь?.. По-ба-иваюсь,

брат!.. Так, значит, дать тебе фрак? У меня, кажется, где-то здесь есть фрак...

Он уходит за ширму и выносит оттуда фрак...

— Вот он... Новенький... Примеришь?

Пушкин, быстро сбрасывая сюртук, надевает фрак и глядится в зеркало.

— Прекрасно, а? Как на меня шит! Прелестно!

— Лучше и в Париже не сошьют.

— Ну, если уж от этого фрака Гончариха не растает, тогда чорт ее побери! — кричит радостно Пушкин.

— Ра-ста-ет! — уверенно говорит Нащокин.

— А если растает, будем пить с тобою шампанское!

— Напьемся, как илоты, и будем по улице на четвереньках ползать... Идет? — обнимает Пушкина Нащокин.

— Идет! Идет! Непременно тогда как илоты на четвереньках!..

И Пушкин, обняв Нащокина, никак не может налюбоваться в зеркало на свой фрак.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

6 апреля 1830 г. Пасха. За окнами дома Гончаровых трезвон сорока сороков колоколов старой Москвы. В столовой длинный стол уставлен куличами, с украшениями наверху, бабками, вазами крашеных яиц, ветчиной, жареными поросятами, наливками, винами.

За столом сидят: Наталья Ивановна Гончарова, Екатерина Николаевна, Александра Николаевна, Натали, помещик Медынского уезда, Калужской губернии Сверчков, очень грузный старик в штатском, и его племянник Алексис, юноша лет восемнадцати, тоже в штатском. Им прислуживают — Терентий, в ливрее, и горничная Даша, вся в розовом и белом.

Сверчков, держа в одной руке рюмку, а другой стараясь пригладить голубую на квадратной голове щетину, повествует сипло:

— И вот, голубушка, Наталья Ивановна, получилась у них, у Шестаковых, такая печальнейшая картина: там, в Саратовской губернии в том имении самом, какое они Катрин своей дали в приданое, зятек их, может быть вы слышали, ви-но-ку-ренный завод устроил большой, кха, кха, кха!..

— Это я слышала. Пейте же вашу рюмку! — говорит Наталья Ивановна.

— Благодарю вас, что напомнили,— я бы забыл, забыл!.. Кха, кха! Вот простудился как!..

Он ищет, чем бы закусить; Терентий подносит ему блюдо с индейкой.

— Ну, хорошо-с... Винокуренный... Милое дело, ведь, а? Верный доход, а?

— Я думаю! — уверенно отвечает Гончарова.

— Нет-с! Нет, не думайте этого, Наталья Ивановна! О-ка-за-лось, совсем не верный! Ока-за-лось неу-ро-жаи три года под ряд! Суховеи там... называемые суховеи, такие ветры азиатские! Выду-ли всю озимь сплошь! Также и яровое... А? Кха! — и начинает усердно жевать индюшатину.

— Что же, что у тебя неурожай? У другого зато урожай... Купи хлеб у другого и гони вино,— решает вопрос Наталья Ивановна.

Сверчков таращит на нее глаза:

— Ка-ак так? Кха! Из по-куп-ного чтобы хлеба вино курить? Ха-ха-ха! Наталья Ивановна, дорогая моя, что вы, что-о вы! Да ведь это во сколько же такое вино обойдется? Ведь цены там на хлеб поднялись или нет, ежели неурожай? А на вино, а? А на вино разве можно цены поднять, а? Кха! А если цена хлеба против цены вина стала тройная, тогда как?.. Вот и продали имение за долги... совсем с заводом!

— Как? Продали? — изумляется Гончарова.

— Кон-че-но! Приехала Катрин с детьми под отеческий кров, а муженек ее где-то там судится в Петербурге с кем-

то... Не высудишь, не-ет! Ищи теперь ветра в поле!.. А почему прогорел? Потому что сам начал хозяйничать!.. А ты если хочешь именье свое сохранить, ты сам не хозяйничай в нем, это вернее будет!

— А найми управляющего...— подтверждает Наталья Ивановна.

— Не-ет, не это, кха! А ты возьми бурмистра, вот кого! Бур-мистра! Где управляющий у тебя украдет двадцать тысяч, там бурмистр только две... Выгода? А как же! Бурмистр на двадцать тысяч не посягнет, бурмистр — курочкой, курочкой по хозяйству ходит: там зернышко клюнет, там другое, а управляющий, да еще немец, это целый страус! Кха!.. Страус! Да! Почему управляющий и хуже бурмистра!.. Но уж ежели ты сам хозяйничать возьмешься, то ты-ы... самого себя ограбишь до нитки, кха! До ни-итки! Кха, кха, кха!.. И пойдешь в нищих!

— Как же теперь Катрин? Вот бедная!

— Не-счаст-ная женщина!.. И родители ее тоже! А почему? Выдали дочь за чорт его знает, простите, кха! прожек-тера какого-то! За этакого какого-то человечка с фантазией!

— А вот у меня целых три дочери! За кого же мне их выдавать замуж? — качает головой Наталья Ивановна, и Сверчков умиленно оглядывает всех трех девиц поочередно:

— Цветник! Цветник бесценный! Красавицы!.. За кого выдавать их? За гусаров! За уланов! Вот за кого! За кирасиров! За конногвардейцев!.. За ка-ва-лер-гар-дов, кха, кха!.. Вот за кого!.. Кха!.. За тех, кто служит царю, да! И царь того обеспечит, кто ему служит! За царем служба не пропадет!.. Раз ты до-слу-жил-ся до командира полка, вот ты и богат!.. Алексис! помни это! — строго обращается Сверчков к племяннику.

— Я, дядюшка, помню, как же,— отзывается тут же Алексис, но голос его нетверд.

— По-олк, полк, вот хозяйство русского дворянина! Алексис! Так ли я говорю? — хрипит Сверчков.

— Совершенно правда, дядюшка! — поспешно соглашается Алексис и опрокидывает рюмку.

— Но-о... много не пей! Смотри! Нам еще в несколько мест заезжать! — замечает дядюшка.

— Я, дядюшка, немного...— скромно оправдывается племянник и тычет вилкой в тарелку с ветчиной без внутреннего увлеченья, но преданно.

— Определяю его юнкером в уланы... вот! Кха!..— сообщает Сверчков Наталье Ивановне.— Это будет го-раз-до лучше, чем собак гонять в деревне, а также всякие прожекты и фантазии... Хотя, конечно, денег стоит тоже... Но насчет карт, извини! Карточных долгов твоих платить не буду, так и знай! Вот при Наталье Ивановне тебе говорю! — делает свирепые глаза Сверчков.

— Так вы советуете выдавать дочерей за военных... А если находится жених штатский? — лукаво улыбается Наталья Ивановна.

— Разумеется, если человек богатый, само-сто-ятельный...

— А если не так и богат? — перебивает Гончарова.

— Но на службе, на службе, конечно!.. Тогда... тогда отчего же-с? И штатские ведь тоже... Вот тебе раз! Точно не бывают у нас губернаторы даже из штатских лиц! Да наконец ведь государь наш, о-он... кха!.. И переименовать может из чина штатского в чин военный? Ты, например, сегодня действительный статский советник, а завтра по его монаршей воле ты уж и генерал-майор... И можешь носить густые генеральские эполеты тогда! — и Сверчков восторженно подымает толстый палец.

— Однако вы-то сами, кажется, никогда не носили эполет? — вмешивается в разговор Екатерина Николаевна, на что Сверчков отзывается очень живо:

— И глупо сделал, что не носил их, да!.. Глупо сделал, м-ль! Оч-чень глупо, кха!.. Про-па-ла моя жизнь, пропала!

Так, ни за что! (Ерошит горестно волосы. Терентий наливает ему вина.) А ты мне какого? Я, братец, хотел вот этого попробовать, а? Это какое такое? — И тычет пальцем в другую бутылку.

— Это? Это — альятик, барин,— важно отвечает Терентий.

Сверчков смотрит на бутылку глубоко задумчиво:

— А-ли-а-ти-ко... да-а... Кха! Это — итальянское вино... Налей!.. По-гиб-ла моя жизнь в деревне! Но ты-ы, Алексис, ты-ы, служи, шельмец! И выпьем с тобою за прекраснейших трех невест!

Тут он пытается подняться со стаканом в руках, что наконец ему удается.

— Ка-кой цветник! Ка-кой роскошнейший цветник у вас, дорогая Наталья Ивановна!.. Ваше здоровье, ваше здоровье, demoiselles! — и он чокается торжественно со всеми и пьет медленно, смакуя вино.

— Ваше здоровье! — повторяет Алексис и пьет разрешенно весело и с большим знанием этого дела, лихо опрокидывая рюмку.

— Хорошее вино... Кха! Кха-кха!..— густо кашляет Сверчков.— Очень хорошее вино... Но как ни божественно тут у вас, дорогая Наталья Ивановна, надо ехать, надо! В четырех еще надо мне побывать домах, и тогда уж... можно на боковую... Доброго здоровья, Наталья Ивановна! (Целует руку.) Алексис! Прощайся!

— Au revoir! Au revoir, madame! — нетвердо уже держась на ногах, подходит к Наталье Ивановне Алексис и тоже с чувством целует руку.

Прощаясь последовательно и со всеми барышнями, медленно уходят визитеры. Натали отходит к окну.

— Очень смешные эти Сверчковы! И, кажется, племянник еще смешнее, чем дядя! — скучающим тоном говорит Екатерина.

Не совсем твердым от выпитого вина голосом замечает ей Наталья Ивановна:

— Чем же он смешной? Он смешит, да! — смешит, а совсем не смешной!.. Вот такая, как ты, конечно, рассмешить никого не может, а в жизни... в жизни это гораздо бывает нужнее... чем серьезность!.. Такой, как этот Алексис, он карьеру себе сделает, именно тем только, что смешной!.. Ты слышала, поступает юнкером в уланский полк?.. А там переведется на Кавказ, и не успеешь оглянуться, как уж выслужился... Ты куда? — добавляет она, увидев, что Александра уходит из столовой.— Сейчас, наверно, еще кто-нибудь придет из молодежи! Может быть, князь Платон...

— Я ведь сейчас же приду, мама! — оправдывается Александра, а Екатерина говорит, отвернувшись:

— Князь Платон едва ли приедет...

— «Едва ли»?.. Это почему же?.. Ты успела уж с ним поссориться?.. — подозрительно смотрит на нее мать.

— И не думала, мама, что вы!.. Только мне кажется, что он не приедет...

— Мама! Пушкин! — скорее удивленно, чем обрадованно говорит от окна Натали, на что презрительно отзывается Екатерина:

— А вот Пушкин, это скорее!

Но у Натальи Ивановны вызывающий и немного пьяный вид, когда она смотрит на свою старшую:

— А что же Пушкин? Мне м-м Малиновская очень много о нем говорила, она его хорошо знает... А также и сестра мне пишет, что царь думает даже его историографом сделать на место Карамзина покойного! Чем же это плохо? Вот тебе и Пушкин!.. Могут даже и придворное звание дать! Камергерский ключ если получит, вот у Пушкина и положение в свете!.. Если только я от него потребую, чтобы он, ради Натали, приобрел себе положение, то он... при-обре-тет, да-а!.. Натали! Идет уже Пушкин в дом?

— Он, мама, говорит там с кем-то... Кто-то его подвез к нам, а сам едет дальше...— отвечает Натали, неотрывно глядя в окно.

— Ты хочешь, чтоб я тебя сговорила сегодня за Пушкина, а?

— Ах, мама, мне право... все равно! — пожимает плечами Натали.

— Как это «все равно»? — Тебе же с ним жить, а не мне? — удивляется Наталья Ивановна.

Натали же, продолжая наблюдать в окно за Пушкиным, сообщает:

— Говорит с каким-то господином и хохочет... А Сверчковы уехали.

— Я вчера получила от него письмо... Он, конечно, понимает, что-о... И м-м Малиновская тоже со своей стороны...— больше думает вслух, чем говорит дочерям Наталья Ивановна.— Так и быть! На Пасху, говорят, и умирать хорошо! Может быть, и сговаривать тоже не плохо... Даша! Поди в молельню, образ Николая-угодника сними! Не большой, который в углу, а поменьше, в серебряной ризке...

Даша оживляется чрезвычайно, раз дело доходит до образа.

— Я, барыня, знаю... И сюда принесть?

— Зачем сюда? Положи пока в спальне у меня... на столе...— приказывает предусмотрительно Наталья Ивановна, и Даша уходит в молельню.

— Зачем же думать, что Пушкин непременно сделает предложение? Он просто с визитами ездит,— говорит Екатерина, подходит к Натали и смотрит в окно.

Наталья Ивановна повышает голос, тяжело глядя на гладкую прическу густых темных волос Екатерины:

— Ты что это, а? Ты что меня раздражаешь?

— Ну, вот, идет уже! Идет! — сообщает Натали.

— Кто идет? — спрашивает Александра, входя.

— Пушкин!

— А-а! — Александра, не слышавшая решения матери, вопросительно смотрит на мать. Терентий подвигается к двери, чтобы отворить ее торжественно; Даша вносит икону.

— Вот эта, барыня? — таинственно спрашивает она, но Наталья Ивановна машет руками:

— Уходи, уходи!.. Я тебе сказала, положи в спальне на стол! — И Даша уходит поспешно.

Терентий открывает дверь в прихожую и вот, при общем напряженном ожидании, входит в нащокинском фраке, имеющий весьма щегольской вид Пушкин. Выражение лица его тревожно. Но Наталья Ивановна встречает его гостеприимно:

— А-а! Александр Сергеич!

— Христос воскресе! — сдавленно говорит Пушкин и делает общий поклон.

— Христос воскресе, Наталья Ивановна!

— Воистину воскресе! — И Наталья Ивановна христосуется с Пушкиным.

Потом холодно христосуется с ним Екатерина Николаевна, растроганно Александра Николаевна; останавливаясь перед Натали, говорит он тихо и срывающимся голосом то же, что и другим, но как-будто что-то единственное и неповторяемое: Христос воскресе, м-ль! — и почтительно дотрагивается губами до уголков ее губ, подымаясь для этого на цыпочки, так как она гораздо выше его ростом.

— Ну, вот... Хорошо, что зашли... Садитесь... Садитесь сюда, Александр Сергеич! — неожиданно для Пушкина очень приветливо говорит Наталья Ивановна и сажает его рядом с собою, указывая тем временем Натали место с другой стороны от себя.

— В какой церкви вы были?

— Я?.. У Вознесения...— не задумываясь, отвечает Пушкин, чем очень удивляет Наталью Ивановну.

— Как так? Там же, где и мы! А мы вас и не заметили!

— Хорошо и то, что я вас заметил! Церковь была набита битком, а я стоял сзади... Прекрасный хор в вашей церкви! — сразу попадает в тон Пушкин.

— Правда ведь? Все хвалят!.. Всем нравится наш хор...—

мкует Наталья Ивановна, ревностная прихожанка Старого Вознесения.— А как служит наш батюшка, о. Павел?

— Очень... очень благолепно!..— с чувством говорит Пушкин.— Пасхальная служба ведь и вообще изумительна... и по своим напевам, и по своим словам... Я очень люблю эту службу... А при таком хоре, при таком батюшке, тем более это показалось мне ни с чем несравнимым... Для меня, поэта, ясно было именно в сегодняшнюю службу, что составители песнопений пасхальных большие были поэты!

Эта неожиданная похвала составителям церковных служб несколько озадачивает Наталью Ивановну:

— Поэты?.. Как же «поэты»? Святые они были, а не поэты! — говорит она строго.

— Простите, мне всегда казалось, что все святые люди были в то же время и большие поэты, даже если они и не умели сочинять духовных стихов! — горячо поправляет дело Пушкин.

— Также и наоборот, вы хотите сказать? — подозрительно смотрит на него Гончарова.

— О нет, нет. Наоборот бывает гораздо реже... очень редко... Но вот слепец-поэт Козлов Иван Иваныч, он, по-моему, совершенно святой человек! — убежденно замечает Пушкин.

— Может быть... не знаю...— неопределенно отзывается Гончарова.— Какого хотите вина? — и видя, что Терентий наливает Пушкину алиатика, добавляет.— Мне тоже налей!

— С праздником, Наталья Ивановна,— подымаясь, чокается с нею Пушкин— и поверьте, что для меня это праздник вдвойне.

— Значит, и вы можете переживать праздники праздничнс? — спрашивает Наталья Ивановна.

— Очень хорошо это у нас сказалось, Наталья Ивановна! Именно так! Я бы не мог сказать лучше! Здесь в вашем семействе в присутствии м-ль Натали, которую я

обожаю... (Наталья Ивановна в это время медленно пьет вино, глядя на него оценивающим взглядом) и которую я все-таки... не теряю надежды видеть когда-нибудь своей женой, Наталья Ивановна!..— Больше не находит уже в себе необходимых околопредметных слов Пушкин: он ставит стакан на стол и наклоняет к ней голову.— Укрепите во мне эту надежду!

— Что же вы так... спешите? Это ведь... вопрос серьезный...— не желает сразу сдаваться Гончарова.

— Я спешу... да... может быть, это неприлично даже, но... ведь сюда к вам вот-вот кто-нибудь может притти, Наталья Ивановна! — допив вино и вытерев губы салфеткой, с отчаянием в голосе отвечает Пушкин.

— Ну, что же, Натали? Вот, ты слышала, г. Пушкин делает тебе предложение... Ты согласна?

Натали вопросительно поглядывает на мать и исподлобья оглядывает сестер: —Я... мама, я...— начинает было она и запинается.

— Говори же, наконец, со-глас-на? — нетерпеливо повышает голос Наталья Ивановна.

Натали вполголоса и глядя в стол шелестит:

— Согласна.

Пушкин, все время тревожно на нее глядевший, хватает ее руку и прижимает к губам:

— Натали! Натали! Божество мое!

Тем временем Наталья Ивановна кивает Даше на дверь в спальню, и Даша понимающе шепнув:

— Сию минуту, барыня! — убегает и тут же возвращается с иконой, которую подает Наталье Ивановне.

Наталья Ивановна поднимая иконку и заметно хмелея, становится совсем торжественной:

— Ну, вот... Станьте рядом... Наклони же голову, Натали!.. Вот... я... я... благословляю вас... Тебя, моя любимая девочка, и вас... Александр!.. материнским благословением... (Крестообразно водит иконкой над склоненными

головами Пушкина и Натали.) И чтобы святой день сегодняшний... принес вам счастье... в жизни вашей...

Тут она начинает расчувствованно всхлипывать. Терентий берет у нее из рук икону, понимая, что больше с нею уже нечего делать. Пушкин благодарно целует правую руку Натальи Ивановны, Натали — левую. Подходят Екатерина и Александра и также целуют руки матери, потом целуют сестру.

В это время лакей, входя, говорит вполголоса: Его сиятельство... граф Толстой!

Екатерина и Александра Николаевны отшатываются от матери и Пушкина, Наталья Ивановна вытирает слезы платком. Пушкин продолжает держать руку Натали в своей руке. Входит Толстой-Американец.

Толстой возглашает от дверей торжественно и уже навеселе:

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе, мой друг! — радостно отзывается ему Пушкин.

— Ба-ба-ба! И ты тут, Пушкин!.. Наталья Ивановна!

И он, как старый друг дома, празднично лобызается с Гончаровой.

— Но о чем же вы как-будто уже всплакнули? Уже не этот ли мой друг сердечный виноват, а? Он кого угодно может довести до слез. (Христосуется с Пушкиным). М-ль Натали! Христос воскресе!

— Нельзя, нельзя! — почти в ужасе вскрикивает Пушкин. Все держа Натали за руку, он прячет ее за себя, становясь между ней и Толстым.

— Чего нельзя? — озадачивается Толстой.

— Целовать мою Натали! Мою невесту! Нельзя!

— Ка-ак? Не-ве-сту? Вот оно что!..— изумляется Американец. — Родной мой! Поздравляю сердечно! (Целует Пушкина). Поздравляю, Наталья Ивановна! (Целует руку Гончаровой.) Это вот сегодня? Сейчас, а? Злодей! А я так за него старался! Поздравляю вас и вас тоже!.. —

обращается он к Екатерине и Александре.— Нет, каков, а? Я так старался в его пользу, я был таким бесподобным, смею думать, его сватом, и он даже не позволяет мне похристосоваться с м-ль Натали! Вот так ревнивый жених! Что же будет, когда он станет мужем? А?.. А-а?... А-а-а?...

Крым, Алушта.

Октябрь 1933 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРИДАНОЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Начало мая 1830 года. Гостиная в доме Гончаровых в Москве, на углу Б. Никитской и Скарятинского переулка. Даша, горничная, снимает чехол с кресла. Входит ключница Аграфена, спеша.

— Дашка! А барынино платье голубое где? В гардеробе или уж уложила?

— Да уложила же! Давно уложила в сундук к отправке!.. И голубое, и с кисейными рукавчиками, и с желтым кружевом, и с розеточками,— все, все как есть уложила! — хвалится Даша.

— Ду-ура! Барыня ж сейчас спрашивает платье голубое, надеть хочет! Давай скорее! — спешит и толкает ее Аграфена.

— Вот наказание господне!.. А я же ее никак под самый низ положила! Как же теперь? Неужто опять все выкладывать? А на «Завод» поедем когда же? — частит непонимающе Даша.

— Ты что это в язычок стучишь? Тебе сказано — платье давай!.. Когда прикажут, тогда поедем!

Даша бросает на кресло чехол.

— На-ка-за-ние! Это же опять все буровить! — И уходит, сталкиваясь в дверях с Катериной Алексеевной, у которой весьма озабоченный вид.

— Аграфенушка! А сережины книжки, тетрадки уложили? — спрашивает та деловито.

— Ну, это уложить недолго — книжки с тетрадками!.. Только бы знать, что укладывать, а чего и вовсе не брать... Да похоже, что нынче и не поедем совсем,— важно отзывается Аграфена.

— Как это, когда Наталья Ивановна сама сказала?

— Да ведь то сказала ехать нонче, а то голубое платье требуст! Разве тут чего поймешь? Должно, еще день в Москве пробудем, а уж признаться и надоело.

— Да и Наталье Ивановне в имении поспокойнее... — и соображает Катерина Алексеевна, что бы сказать еще, идущее к делу, но тут слышен нетерпеливый колокольчик из спальни Натальи Ивановны, и она вздрагивает:

— Вот, звонит!

Аграфена кидается к дверям, в которые вышла Даша и кричит:

— Даш-ка! Пропасть тебе пропастью!

— Никак звонили? — вбегает проворно Даша с голубым платьем в руках.

— Беги скорей! — толкает Аграфена Дашу и потом уже успокоенно Катерине Алексеевне: — Да и дожди признаться надоели: что ни утро — дождь! Что ни вечер — дождь!.. Авось там у нас погода постепеннее... Что же я столбом-то стою, будто делов у меня нету? Надо же мне Прову масла отпустить! — однако она не двигается все-таки с места, так как вопрос о масле и прочем для стола в доме Гончаровых это очень сложный и трудный вопрос.

Но входит сам старший повар Пров, толстый, потный, в белом колпаке, и говорит огорченно: — Ну, что же это такое за Сибирь с каторгой! Дождусь я провизии, какой следует на обед, или же я должен удавиться?

Аграфена качает головой с видом неотъемлемого превосходства:

— Иду же я, видишь, иду? Дурак божий — «удавиться»!..— И оба они уходят, ворча. А из других дверей входят Натали и Александра, сцепившись руками. Кате-

рина Алексеевна при виде их считает нужным сделать весьма озабоченное лицо и пробормотать скороговоркой хотя, но явственно:

— Сережичкины книги, тетради уложены ли? Не знаете? Надо пойти посмотреть! — Она уходит, а Александра декламирует, глядя на сестру раскосыми глазами:

«Мария, ты пред ним явилась!
Увы, с тех пор его душа
Преступной думой омрачилась.
Гирей, измено́ю дыша,
Моих не слушает укоров,
Ему докучен сердца стон,
Ни прежних чувств, ни разговоров
Со мною не находит он...
Ты преступленью не причастна,
Я знаю, не твоя вина»...

— Откуда ты это? — удивляется Натали.

— Как откуда? Из «Бахчисарайского фонтана», который тебе поднес твой жених... Новенькое, третье издание...

— А-а! — равнодушно тянет Натали.

— А ты, конечно, и не прочитала? — укоряет ее сестра.

— Да-а... потому что мне показалось скучно.

— Ка-ак? Это скучно?

И декламирует с жаром Александра:

Давно грузинки нет, — она
Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена...
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье...
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

— Кому наказанье? За что наказанье? — слабо любопытствует Натали.

— Если бы ты дочитала...
— Мне не понравилось!
— Что ты? Что ты?.. Такие стихи тебе не нравятся?

Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила,
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи...
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?

Но Натали усмехается при последних словах:
— Почему «язвительных лобзаний»? Она разве кусалась?— И вдруг вспомнила оживленно.
— А какой толстый дядя Пушкина — этот Солнцев!.. Ведь он втрое толще нашего Прова!.. Я до сих пор не могу опомниться, до чего он смешной!
— А вот маме он очень понравился... Потому что камергер и очень внушителен,— отзывается не без насмешки Александра.
Натали закрывает глаза, смеясь:
— Он ужасен, ужасен!.. И если вся родня Пушкина такова...— Но входит лакей с чемоданом, в котором книги и тетради Сережи, за ним Сережа и наконец Катерина Алексеевна с видом исполнившей свой долг.
— Ну, вот, и уложили! — говорит она.— Сережечка может хоть сейчас ехать.
— А я разве один поеду? Так мама сказала?..— спрашивает Сережа.— Я, конечно, мог бы и один поехать, только верхом на Аяксе!
Все трое проходят в другую комнату, но вдогонку брату замечает Александра сварливо:
— Да, на Аяксе! Кто тебе позволит сто шестьдесят верст верхом ехать?

— А я бы проскакала до «Завода» верхом! Полтораста верст? Подумаешь, как много! — с увлечением подхватывает Натали.

— Однако тебе ведь никогда не приходилось так много?

— Ну, кто ж, если мама не позволяла!

— Вот после свадьбы муж тебе позволит, конечно!

— О-он!.. Он мне говорил, что и сам любит скакать верхом! Мы с ним будем далеко ездить,— горячо мечтает Натали.

Катерина входит с весьма недовольным видом и сразу же начинает с замечания:

— Я удивляюсь! Весь дом укладывается, а вы... Хотя бы отобрали, что с собой берете, что оставляете!

— А вот мама выйдет и отберет сама! — говорит Натали.

— Что же ты все мама да мама, ты скоро сама будешь мужнино хозяйство вести! — зло возражает старшая сестра.

— Я-я? Почему же я? — спесивится Натали.

— А кто же? Опять все мама?

Однако у Натали появляется выразительность в голосе, когда она отвечает:

— Мужнино хозяйство и будет вести муж, а совсем не я! И я думаю, что у Пушкина найдется для этого какая-нибудь толстая тетушка, как этот слон,— настоящий слон! — Солнцев! Вот она и будет сидеть себе дома и вести хозяйство, а совсем не я!

Таинственно, как это принято у нее за правило, говорит, входя, Софья Петровна:

— А к нам кто-то идет и сейчас войдет! Кто, Наташечка, а? Кто-о?

— Жених мой? — догадывается Натали.

— Н-не знаю, может быть, и о-он! — тянет Софья Петровна с ужимкой. Приход Пушкина сердит, как всегда, Екатерину. Она говорит:

— Вот уж совсем некстати сегодня! — и уходит, хлопнув дверью.

Казачок Лукашка входит, улыбаясь, и докладывает:

— Г. Пушкин.

— Пойти, Наталье Ивановне сказать! — беспокоится, найдя себе дело, Софья Петровна.

Александра делает было шага два за нею, но Натали удерживает ее.

— Куда ты? — говорит она.— Мне одной с ним всегда так бывает неловко!

Входит Пушкин и целует почтительно ее руку. Он оживлен.

— Натали! Здравствуйте, мой ангел! Здравствуйте, м-ль Александрин! А ваша мама? Я пришел сегодня с очень доброй вестью!

— Мама должно быть сейчас выйдет сюда,— говорит Александра.

— Как? До сих пор еще не встала? Больна? — удивляется Пушкин.

— Не-ет, давно встала, но мы ведь укладываемся ехать в «Завод»,— разрешает себе сказать Натали.

— Отчего же так стремительно это? Третьего дня об отъезде ничего не говорилось ведь,— подозрительно смотрит на сестер Пушкин, и Александра отвечает:

— Да-а... у мама это как-то сразу... вдруг.

— А я получила письмо от вашей сестры, Ольги Сергеевны! — говорит Натали, улыбаясь.

— А-а! Ну вот! И отлично, прекрасно! Теперь время писем, писем, писем! Я тоже каждый день получаю поздравления от друзей... Что же она пишет, моя единственная сестра Ольга?

— Я так смеялась, когда читала! — улыбается еще очаровательнее Натали. Это несколько озадачивает Пушкина:

— Смеялись? Чему же именно?

— Она, должно быть, очень веселая, ваша сестра?

— О, да! Конечно, она остроумна! — живо соглашается

Пушкин. Остроумие — это у нас в роду. Мой дядюшка, Василий Львович, поэт, который теперь, бедный, очень болен, тоже человек остроумный... Он непременно пришлет веселые стихи на нашу свадьбу, если коварная подагра не позволит ему подняться с одра... Вы мне потом как-нибудь покажите письмо сестры, дорогая моя Натали!

— Оно у меня в комнате... Вот мама,— говорит Натали.

Входит Наталья Ивановна в голубом платье, и Александра тут же уходит.

— А-а, вот кстати, Александр! Получено письмо от Афанасия Николаевича, моего свекра! Натали, дедушка благословляет тебя на брак с Александром Сергеевичем! — многозначительно говорит Наталья Ивановна.

— Здравствуйте, Наталья Ивановна! Благословляет? Я рад! Я несказанно ему благодарен! Я сегодня же напишу ему письмо! — волнуется Пушкин, а Наталья Ивановна продолжает то, что обдумано у нее заранее.

— Я думаю, вам следует поехать в «Завод», поговорить с ним насчет... Натали ведь его любимица, как же! Она и воспитывалась там у него лет до шести... Я думаю, он ее обеспечит... Имение — майорат, вы это уж знаете, выделять из него ничего решительно нельзя, но для Натали, я думаю, он что-нибудь да найдет! Он найдет! Вы только поговорите с ним, как следует. Понимаете?

— Непременно! Я это сделаю...— спешит согласиться Пушкин.— Вы мне потом скажете, конечно, что это значит, «как следует»... А я, кстати, тоже получил письмо... Знаете ли от кого? От генерала Бенкендорфа, то-есть, другими словами, от моего цензора — царя!

— А-а! Вот как? От генерала Бенкендорфа?.. Оставь нас, Натали! Надеюсь, письмо это сейчас с вами? — пытливо глядит на будущего зятя Наталья Ивановна, в то время, как выходит Натали.

— Ну, конечно же! Я с ним и пришел к вам! — достает письмо Пушкин.

— Садитесь здесь, Александр!

Наталья Ивановна берет письмо и садится на диван рядом с Пушкиным.

— Это он лично пишет? Генерал Бенкендорф?.. Это его рука?

— Разумеется! Писаря даже 3-го отделения пока еще по-французски не пишут,— шутит Пушкин.— А Бенкендорф ведь мой давний корреспондент.

Наталья Ивановна очень внимательно вчитывается в письмо Бенкендорфа и говорит удовлетворенно:

— А-а! Ну вот! Государь разрешает вам жениться... «на такой любезной и интересной как м-ль Гончарова»... О-о, конечно! Когда государь был в Москве в марте, и Натали выступала в живых картинах в доме князя Голицына, то государь, конечно, ее заметил! Она выступала тогда вместе с Алябьевой и Лазаревой, но все, все решительно, вся Москва, отдавали преимущество моей Натали! А что государь ее тогда заметил, это он сам говорил моей тетке Наталье Кирилловне... Загряжской. Вот вы у нее непременно побывайте, когда будете в Петербурге, Александр! Его величество не находил тогда слов для комплиментов Натали! — И продолжая читать дальше, добавляет: — Ну, вот, видите, Александр, и Бенкендорф пишет то же, что я говорила уж вам: от вас самих, от вашего желания зависят все ваши успехи при дворе! А так как вы, конечно, любите Натали и сделать ее несчастной ведь не захотите, нет? Ведь нет? Скажите!

— Ну, о чем же вы говорите, Наталья Ивановна! — пожимает плечами Пушкин.

— Я уверена в том, что вы себя переделаете, потому что не захотите огорчать мою девочку! И знаете, ведь ничего невозможного нет, что государь сделает вас камергером!..— мечтательно заключает Гончарова.

— Может быть... Бенкендорф как-то даже намекал мне на это в личном разговоре...— бормочет не вполне ясно Пушкин.

— Ну, вот! Ну, вот!.. Вы получите, конечно, должность, у вас будет вполне приличное положение, вам дадут жалованье, достаточное, разумеется, чтобы содержать вашу семью... Да! Я в этом уверена теперь! Я теперь спокойна за Натали! — торжествует Наталья Ивановна.

— Я сделаю все, что потребуется обстоятельствами, Наталья Ивановна! Поверьте!..— прикладывая руку к сердцу, обещает Пушкин.— Но вот там дальше есть для меня очень радостное, читайте, пожалуйста, дальше!

— А что такое? — читает дальше Наталья Ивановна.— А-а, насчет трагедии вашей «Годунов», что государь разрешает ее издать? Но ведь тут сказано «под вашу личную ответственность»! А что это значит, объясните мне! Ответственность,— это, знаете ли... вообще гораздо, лучше, чтобы всяких этих ответственностей совсем не было!

— Пустяки! Казенная фраза!... Никакой ответственности и быть не может! Историческая трагедия! Какая же может быть ответственность? Правда, государь очень долго не разрешал ее к печати, но...

— Ну вот видите!

— Но я ее все-таки отстоял! Я писал об этом подробно Бенкендорфу, и вот теперь она выйдет в первозданной красоте!— ликует Пушкин.

— И что же, если выйдет? Это даст вам какие-нибудь деньги? — справляется Гончарова.

— Ну, еще бы! Еще бы!

— Я очень рада, Александр! — воодушевляется Наталья Ивановна.— Берегите это письмо. Это введение к вашему будущему камергерству! Я так рада, так рада!.. Мне так хочется поблагодарить за это владычицу!.. Вот что мы сделаем с вами сейчас: поедем сейчас к Иверской божией матери! Поставим там три свечи: я, вы и Натали!.. Непременно, непременно! (кричит) Натали! Натали!

— Что, мама? — входит встревоженная Натали.

— Одевайся! Сейчас мы едем к Иверской втроем: я, ты и Александр Сергеевич!— И когда уходит одеваться На-

тали, говорит нежно ее мамаша: — Потом я вас отпущу, Александр, и вы можете заняться своими делами... Если вы хотели отобедать у нас, то ведь у нас сегодня сборы, и я даже сама не знаю, будет ли у нас обед сегодня, и какой именно!.. Итак, идем одеваться! Я так рада, так рада!

Подымаясь, она тащит Пушкина в прихожую. Натали в летней шляпке проходит за ними через гостиную. В полуотворенную дверь смотрит на Пушкина Александра.

Открывая постепенно все больше и больше дверь по мере того, как затихает в прихожей, Александра, наконец выходит в гостиную и бросается к окну, из которого видно, как проходит с ее матерью и сестрою Пушкин. Она говорит полушопотом, восторженно: — Пуш-кин!..— Через несколько времени снова: — Пуш-кин!

Входит Екатерина. Вздрогнув, оборачивается Александра.

— Что? Ушел Пушкин? — спрашивает Екатерина.

— Да-а, он поехал с мама и Натали к Иверской...— равнодушнейшим тоном отвечает Александра, а старшая сестра язвит насчет нелюбимого ею жениха Натали:

— Вот как? К Иверской? Давно ли стал так богомолен Пушкин?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Роскошно обставленный кабинет Афанасия Николаевича Гончарова в его имении «Полотняный завод». В кабинет входят, держа в руках шляпы, Афанасий Николаевич, в рединготе и Пушкин в сюртуке.

Афанасий Николаевич, кладя шляпу и опускаясь в кресло, причем Пушкин садится напротив, придвигая свое кресло к нему поближе, говорит, задыхаясь: — Ну, вот, осмотрели... мы с вами... Александр Сергеевич... этот памятник... Стар я стал, да... Стар, стар, стар... И очень устал я... (трет себе грудь). Мне ведь всякое волнение вредно... чуть разволнуюсь,— сердце!..

— Да, годы большие, семьдесят лет — не шутка! Мне не дожить,— задумчиво отзывается Пушкин.

— А-а? — приставляет Афанасий Николаевич руку к левому уху.— Вы что сказали?

— Памятник колоссальный! — кричит ему Пушкин. — Сколько в нем? Полторы сажени, вы так кажется говорили?

— Сколько в нем... пудов, вы хотите знать? — силится понять что-нибудь старик.

— Я думаю, много! — кричит Пушкин.— Очень много! Эта медная Екатерина, видно, что очень увесиста! Позвольте мне в дальнейшем называть ее бабушкой вашего завода... Итак, если продать ее на медь?

Афанасий Николаевич внимательно следящий за движениями губ Пушкина, живо подхватывает: — Мейер, да Мейер лепил, Наукишь отливал, а Мельцер отделывал... Заказывал же ее, эту статую, князь Потемкин, но не взял в свое время, а потом неожиданно помер... Так что приобрел ее мой отец, когда был молод... когда был еще молод.

— И легковерен!..— добавляет весело Пушкин, потом кричит: — Я это слышал, слышал! Вы мне сказали: продать... Но кто же ее купит, а? Кто купит?

— Кто купит? Казна! Должна купить казна, если вы,— вкрадчиво и гладя Пушкина по колену,— говорит старик,— если вы похлопочете об этом! Похлопочите там, наверху, у генерала Бенкендорфа... который так к вам относится, как самый лучший друг! — и Афанасий Николаевич делает жалостно просительное лицо.

— А если не купит казна? Если казна не купит? — кричит Пушкин.

— Слышу. Да... Если казна не купит то-о... Я об этом и сам думал... Тогда пусть разрешенье дадут продать ее на медь... Колокольный завод ее купить может, а? Ведь может?

— О-о, какие колокола выйдут из матушки Екатерины Великой! — весело отвечает Пушкин.

— А-а? — тянется к нему с открытым ртом старик.

— А сколько же, сколько могут дать за нее, если продать на медь? — кричит ему в рот Пушкин.

— А сколько же?.. Сорок тысяч! Сорок тысяч мне один раз давали, давали, голубчик, но я... я ведь не мог продать! А разрешение на продажу? Вот то-то и горе! Нельзя же памятник особы такой и вдруг на медь продать без разре-ше-ния власти! А давали, да! Деньги почти-почти были в руках! — И старик делает пальцами обеих рук так, будто зажимает деньги.

— Что ж, попробую написать об этом Бенкендорфу,— кричит Пушкин.

— А-а? Бенкендорфу, да!— И радостно хватая Пушкина за пуговицу сюртука, Афанасий Николаевич притягивает его к себе.

— Вот именно, голубчик мой, Бенкендорфу! И государь разрешит!.. Но надо это дело умненько, умненько, голубчик! Надо вот так, я об этом уж думал: — Статуя вышла плоха, да! Плоха!.. Почему владелец ее, Гончаров, ставить ее и не хочет, дабы... дабы... я об этом думал... тут надо словечко одно, да вот: — дабы не оскорбить великой памяти покровительницы завода, а она ведь была покровительницей завода и даже приезжала сюда при моем деде... дабы... Вот я уж и забыл, как надо сказать... а я придумал было... Да! Так!.. Но чтобы ему, владельцу Гончарову, разрешили в будущем поставить другой памятник, более приличный... как это сказать, голубчик? — беспомощно щелкает пальцами старик.

— Своему назначению? — подсказывает Пушкин.

— А-а? Вот именно!.. Я об этом думал... Когда-нибудь впоследствии...— хитро подмигивает старик.

— То-есть, никогда! — догадывается весело Пушкин.

— А-а?

— Я вас понял, Афанасий Николаич! Я понял!— смеется Пушкин.

— Поняли?.. Но это между нами, между нами, голуб-

чик! Я, конечно, надеюсь не дожить до глупости подобной, но это... между нами! И вот, таким образом, если продажа памятника состоится, у вас и Натали будут деньги на свадьбу! — таинственно сообщает старик.

Пушкин вскакивает и начинает ходить по кабинету.

— Да, деньги, деньги... Приданое! Я никак не могу к этому привыкнуть... Для брака мало жениха и невесты, необходимо еще и приданое!

— А-а? Приданое какое будет, вы хотите знать? — Афанасий Николаевич съеживается в кресле, но вдруг трагически подымает руки.

— Майо-рат проклятый, вот что! Если бы не майорат!..

— То давно бы ничего не осталось! — заканчивает, смеясь ему в лицо, Пушкин.

— Вот как сказано, я наизусть помню: «Владелец же того имения и принадлежащего к тем фабрикам ни малейшего чего продать и заложить.... и укреплять в какие-либо крепости или векселя власти не имеет». Слышите, голубчик? Ни малейшего чего даже и заложить нельзя!.. Во-от как зверски сказано!.. И я всю жизнь свою, а мне уж семьдесять лет, семьдесят лет, голубчик! всю жизнь должен был это помнить! — возмущенно жалуется старик и поводит из стороны в сторону седым париком.

Вдруг быстро и громко говорит Пушкин:

— А если дарственную запись на имя Натали?

— А-а? Дарственную? Я об этом думал! — хитро и лукаво хлопает старик остановившегося перед ним Пушкина по локтю! — Я об этом уже ду-мал, голубчик... и вот даже... набросал... где-то есть в столе у меня... Черновая... (Ищет и вынимает бумагу и лорнет.) Вот!.. «Лета 1830, мая... такого-то дня... Надворный советник и кавалер Афанасий Николаев, сын Гончаров, сговорил я дочь сына моего Николая Афанасьевича, а мою внучку, девицу Наталью в замужество 10-го класса за Александра Сергеевича Пушкина, а в приданое за нею даю»...

— Браво, браво! Вот оно, наконец, приданое! — хлопает в ладоши Пушкин.

— А-а?.. Тут вот... Дальше тут вот есть... «Из имения моего»... Нет, не здесь... Даю... «недвижимого имения, находящегося в залоге императорского воспитательного дома опекунского совета с позволения оного и с переводом на нее, девицу Наталью, числящегося поныне оного совета долгу и всех обязанностей в платеже капитала и процентов, из имения моего, состоящего Нижегородской губернии, Балахнинского уезда»...

— А сколько же, простите меня, сколько же долгу на этом имении? — кричит в ухо старику Пушкин.

— А-а? Долгу? Долгу... а вот считайте сами: сто двадцать восемь тысяч рублей ассигнациями взято в 1824 году, да сорок тысяч рублей взято в 1826 году... итого...— недовольно говорит старик.

— Ка-ак? Сто шестьдесят восемь тысяч долгу? О-го-го! — в недоумении кричит Пушкин.— А сколько же душ? Душ сколько?

— Душ? А вот дальше тут, изволите слушать... Вот... «А всего по 7-й ревизии триста душ мужеска пола, считая с женами и детьми их, со внучаты и приемыши, обоего полу, с наличными и беглыми и вновь рожденными, и со всеми к ним принадлежностями, с пожитками и со скотом»...

— Что та-ко-е? Триста душ всего? И такой неслыханный долг на них? — изумляется Пушкин.

— А-а? Земли сколько? Восемьсот сорок три десятины пашенной и непашенной и под лесом... Это не из земель мойората, нет! Это из моего лично имения! — с миной вполне понятного великодушия говорит Афанасий Николаевич, а Пушкин кричит в совершенном негодовании:

— А где же это имение? Где? Его из-за долгу не видно! Это значит сто шестьдесят восемь тысяч долга даете вы в приданое Натали?

Афанасий Николаевич, приставив обе ладони, к ушам, слышит это, но он не смущается:

— Я над этим думал!.. Большой долг, да!..— говорит он даже как-будто со вздохом, но отнюдь не виновато.— Но, голубчик, Александр Сергеевич, имение вы могли бы выкупить! Именьице было бы чистенькое, если бы... одно только вот это... Я над этим думал!.. Вы приходите к министру Канкрину и говорите ему так: «Гончаров Афанасий имеет полотняный завод... и имеет бумажные фабрики... но он не имеет наличности,— понимаете вы меня? — Наличных,— каких-нибудь 200—300 тысяч, чтобы... этак расширить производство свое и тем самым... Это, голубчик, необходимо будет сказать... «тем самым сделать производство свое для государства российского наивяще полезным»... Вот!.. И Канкрин даст! Вам он не откажет, а даст! — весь изнутри сияет старик, так, как будто триста тысяч уже у него в руках.

— За маленьким дело стало!.. Но вы-то, вы-то лично к Канкрину обращались с подобной просьбой? — кричит Пушкин.

— Что я-я-я! Что для них там я-я... Теперь!.. Вот когда нашествие Наполеона на Россию было, и сам светлейший Кутузов-князь у меня ночевал тут, я к нему обращался, чтобы охраняли войска мой завод! И он, Михайло Ларионыч, он приказал — ни одной доски чтобы солдаты не брали отсюда,— вот как было тогда! А теперь?.. Да ведь вы могли бы,— вдруг заискивающим совсем ласковым тоном начинает старик,— могли бы, голубчик, Александр Сергеич, как по-эт, и самому монарху лично известный, вы могли бы ему, государю, и лично, а?.. Доложить могли бы, а? Триста тысяч... ну даже хотя бы и двести... что такое деньги эти для русской казны? А вот тогда бы именьице ваше и было бы чистеньким! Триста душ! И вашим бы деткам, а моим бы правнукам...

— Переоценили вы меня очень, дедушка!..— перебивает Пушкин.— Но каково, каково?

— А-а? — приставляет руки к ушам старик.

— Сказать я, конечно, могу... Сказать-то я могу, конечно...— кричит Пушкин.

— Можете? Ну вот! — очень оживляется Афанасий Николаевич.— Вы только скажите! Вы только скажите и вы увидите: дадут, дадут!.. Триста тысяч! Вы просите не двести, а триста! Не говорите так: 300 или 200! Боже вас избави! Вы говорите твердо: триста! А уж если захотят урезать, это они сами урежут!..

Входит Натали. У нее вид вошедшей нечаянно, шаловливо, по-детски ворвавшейся туда, где ведется такой очень важный именно для нее разговор, о чем она совершенно не подозревает, и, остановясь у дверей, на своего дедушку и своего жениха она выжидающе смотрит, улыбаясь.

— А-а, Натали! Натали, моя прелесть! Вы, должно быть, думаете, что помешали нам? — очень радостно обращается к ней Пушкин.

— Да-а!..— неопределенно тянет Натали, улыбаясь по-детски, со взглядом исподлобья.

— О нет, нисколько! — И Пушкин идет ей навстречу и берет ее за руку.— Мы говорим о полнейших пустяках, совсем не стоящих внимания! О разных философских камнях, способных делать золото из меди и даже просто из ничего! О всяких подобных фантазиях вообще! Ваш дедушка такой милый фантазер, его так приятно слушать... И если бы был он не ваш дедушка, а чей-нибудь еще, я слушал бы его с еще большим удовольствием!

Натали же, касаясь рукой большой китайской вазы, говорит кокетливо:

— А дедушка не рассказал вам, как я, еще совсем тогда маленькая, разбила вот эту вазу? Мне так тогда было ее жаль! Я так тогда плакала!.. Потом ее склеили... И, смотрите, ведь совсем незаметно!

Афанасий Николаевич подходит к ним с понимающим видом.

— Ты, Наташа, об этой вазе, а? Я купил ее лет десять назад за большие деньги, Александр Сергеич!

— Я совсем не вижу тут трещин, Натали! — говорит Пушкин.

— Это ее так удачно склеили! — объясняет Натали.

— Очевидно, это другая ваза... А разбитую выкинули, как всякие черепки,— продолжает искать и не находит и следов трещин Пушкин.

— Нет, это та же самая ваза! — настаивает Натали.— Дедушка! Это ведь та самая ваза, какую я разбила лет десять назад? — кричит она деду.

— Да именно лет десять назад я купил ее, лет десять! — кивает головой дед.

И Натали, хотя и очень звонко, но с тоном непонимания, упрека и близким к плачу кричит:

— А как же вы мне... еще... недавно... говорили, что это та самая?

— А-а? Говорил, да-да!.. Говорил: та самая... Помню, говорил... Да ведь тогда ты была еще девочка, а теперь ты уж невеста! Невеста, да!..— И обращается к Пушкину, беря в руки статуэтку из раскрашенного фарфора:

— Вот это я купил в Вене... Был великосветский аукцион... Эту вещицу хотел тогда очень купить один герцог... э-э... да... герцог дю-Мэн. Но я дал бо́льшую цену, и вещица осталась за мной! Посмотрите, шедевр, шедевр!

А в это время откуда-то доносится сюда прекрасная игра на скрипке.

— Вот эти же канделябры,— продолжает старик,— присмотритесь к ним, Александр Сергеич, они... принадлежали когда-то м-м Монтеспан! Я купил их в Париже... это... это... было еще перед войной с Наполеоном!

— Натали, кто это играет? — спрашивает, слушая одновременно старика и скрипача Пушкин.

— Играет? Это папа́ — говорит Натали, как о чем-то таком, что очевидно само собой.

— А я и не знал, что он такой превосходный музыкант! — А так как музыка вдруг переходит в вальс, то добавляет весело Пушкин: — Но ведь это вальс, Натали, это — вальс!

— А вы танцуете? — с загоревшимися глазами спрашивает Натали.

— Давайте же, давайте, пока играет ваш папà! — обнимает ее талию Пушкин.

И в деловом кабинете начинает темпераментно танцовать Пушкин со своей невестой, а Афанасий Николаевич, забывчиво и по-стариковски кивая головой, следит за танцующей парой, когда отворяется тихо дверь, входит Наталья Ивановна, останавливается в недоумении и говорит строго:

— На-та-ли! Это что такое еще?.. Не можешь обойтись без танцев?.. Тут был такой... такой нужный разговор между твоим дедушкой и Александром Сергеичем, а ты с танцами?

— Но ведь мы уже кончили этот разговор, Наталья Ивановна! Мы его кончили ко взаимному удовольствию! — весело отвечает за невесту Пушкин.

— Ко взаимному удовольствию? Вот как! Не ожидала!..— недоверчиво глядит Наталья Ивановна.— И к чему же, к чему же вы пришли? Что дает в приданое старик?

— Долговые обязательства свои в опекунском совете на сто шестьдесят восемь тысяч рублей и... медную бабушку завода! — еще веселее говорит Пушкин, уже готовый расхохотаться.

— Что такое? Вы шутите?.. Долговые обязательства?.. И какую такую бабушку? — сдвигает брови Гончарова.

— Памятник Екатерины который я должен кому-то продать, ха-ха-ха! — не выдерживает и весело хохочет Пушкин, чем приводит в полное недоумение Наталью Ивановну.

— Чему же вы смеетесь? Не понимаю!.. Это — очень грустно, это очень дико, это... это очень подло, наконец, только совсем не смешно! Натали, пойдем отсюда, и не

смей сюда больше ходить! — окончательно раздражается Гончарова.

— Мама! Но ведь вы же сами мне сказали...— выдает ее Натали.

— Я думала, что ты умнее! Пойдем!.. Твоему жениху нужно поговорить еще... и как следует!

И Гончарова уходит, бросая выразительный взгляд на Пушкина.

Афанасий Николаевич, который тщетно прислушивался к разговору, озабоченно тянется к Пушкину.

— О чем это, а? О чем говорила вам моя невестка?

— Она говорила, что Натали очень вредно танцовать сегодня и даже, кажется, грех! — громко отвечает Пушкин.— Позвольте мне рассмотреть как следует канделябры маркизы Монтеспан: они меня в высшей степени интересуют!

— Но вот еще я о чем думал,— таинственно шепчет старик и оглядывается на дверь.— Вот о чем: май-о-рат, а? Ведь это дело человеческое, а не божие... Бог сотворил кошку, и ее уж не переделаешь в борзую собаку, нет! А майорат?.. Кто о нем просил матушку Екатерину? Мой дед! Но вот я сам теперь старый дед, и у меня шестеро внучат... и сын тоже на моих руках... И всем им надо жить, да, а правду вам сказать, по-родственному, нечем! Потому что не только продать, даже и заложить нельзя! И вот я хотел бы... Я над этим много думал, усердно думал... Я хотел бы, чтобы вы, голубчик, Александр Сергеич, сказали там, наверху, и об этом тоже!

— Что же именно сказать? Что же я должен сказать?— кричит Пушкин.

— Сказать? Чтобы сняли, чтобы удавку эту, запрещение сняли! Чтобы позволили заложить в ломбарде... Хотя бы часть даже, хотя бы не все, а часть! — волнуясь, объясняет старик.

— Чтобы размайоратили «Завод» и все остальное? Екатерина-бабушка связала, а Николай-внучек, чтобы развязал? — переводит на свой язык Пушкин.

— А-а? Развязал бы, вы сказали? Вот именно, чтобы развязал! Потому, что... не то теперь время, да... Не то-о! Они там не понимают этого наверху!.. У меня есть уже черновая бумага на имя его величества. Я вам ее покажу, голубчик, она вот здесь, в столе!

Он берет Пушкина под руку и ведет к столу.

Но отворяется снова дверь. Появляется Наталья Ивановна. Она в неистовстве.

— Так вот, что вы сочиняете тут! — кричит она свекру. Вот какие бумаги вы пишете его величеству! Но его величество не обездолит моих детей, нет, знайте!.. Там, в Петербурге, только посмеются над вашими бреднями, знайте это! Александр! Забудьте о том, что он говорил вам сейчас! И лучше всего оставьте его, оставьте совсем! И прошу вас ко мне! У меня к вам есть дело...— Призывающе строго глядя на Пушкина, она выходит бурно.

— Надо итти, Афанасий Николаич... Итти надо! — кричит старику поэт.

— А-а? Понял... Итти хотите... Но какой, а? Ка-кой тонкий слух у моей милой невестки, а? Она, да, она не любит этого вопроса, она ниче-го не понимает в делах!.. Но какой за то у нее уди-ви-тель-ный слух! — говорит, озадаченно моргая бесцветными подслеповатыми глазами, Афанасий Николаевич и поднимает руки вровень с морщинистым бритым лицом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гостиная в квартире Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных в Петербурге на Фонтанке, близ Семеновского моста. Конец июля 1830 года. У хозяев гости: кн. П. А. Вяземский и Пушкин А. С.

Снисходительно улыбаясь, говорит другу-поэту Вяземский:

— «Что из себя представляет тот или иной человек, это видно из двух крупнейших обстоятельств в его жизни: как он выбирает себе жену и женится и как он умирает!»... Не помню уж, откуда я вычитал это старинное изречение, но выходит так, что ты теперь сдаешь экзамен куда более серьезный, чем все твои лицейские.

— Что в женитьбе есть что-то похожее на смерть, это я и сам чувствую...— мрачно отзывается Пушкин, а Сергей Львович, шестидесятилетний, но еще бодрый с тонким орлиным носом старик подхватывает это замечание сына с большим оживлением:

— А-а, чувствуешь? Значит, твой выбор, мой друг... О-о, я не хочу его осуждать, нет, боже меня избави! Тем более, что я не видел твоей невесты, не говорил с ней!.. Вот вы, Петр Андреевич, вы видели ее, обрисуйте мне ее беспристрастно!..

— Извольте. Я ее видел, Сергей Львович, так же, как теперь вижу вас...— охотно говорит Вяземский.— Зачем же и вывозят девиц на балы, как не за тем, чтобы даже и такие, как я, могли их видеть? Могу сказать вам, что уж говорил и раньше: она красавица во всех смыслах! Поэтому выбор вашего сына не только не плох, но даже, пожалуй, и дерзок!

— А-а! Вот видите, а он даже не привез мне ее хотя бы миниатюрного портрета! — жалуется больше как любитель женской красоты и знаток ее, чем как отец своего нелюбимого сына-поэта, Сергей Львович.

— Это мне как-то и в голову не пришло, признаться! — машет рукою Пушкин. Портрета ее я что-то не видел у них в доме. В имении — там есть, правда, ее портрет. Но там Натали совсем маленькая девочка лет пяти... и, конечно, ни капли не похожа на мою невесту: просто девочка в фартучке.... А моя Натали — мадонна! Вообразите самую красивую из мадонн, вам известных!

— А-а!..— все-таки еще недоверчиво удивляется Сергей Львович.— Но ты мог бы привести к ним художника сам...

— Чтобы получить жалкое искажение? — перебивает Пушкин.

— А роста, роста она какого? — живо любопытствует Сергей Львович.

— Почти моего... И стройна, как пальма,— отвечает Вяземский.

— Скажите! И всего только семнадцать лет!

Он качает головой и неопределенно долго смотрит на сына, причмокивая губами.

— C'est une beauté romantique! — говорит с чувством Вяземский.— И, признаться, я одобряю его выбор: первый романтический поэт своего времени и должен, конечно, жениться на первой романтической красавице своего поколения!

— Но жить ему, Саше, придется не с одною ведь красотой жены! Ох, для хорошей жены очень много надобно качеств! — веско вступает в разговор Надежда Осиповна.

— Мама, неужели вы думаете, что я всего этого не обдумал? — делает недовольную гримасу Пушкин.

— Однако вот только-что Петр Андреевич говорил, что Гончаровых очень большая семья...— несколько взвинченно уже замечает Надежда Осиповна.— Помни, что муж и жена должны быть одни под одной крышей! А если будет вмешиваться в вашу жизнь сама Гончарова...

— Разве я это ей позволю?...— почти кричит Пушкин.— Ни-ко-му не позволю я вмешиваться в нашу с Натали жизнь! А после свадьбы я непременно увезу ее из Москвы сюда в Петербург.

— Ого! Вот видите: он обещает стать грозным мужем! — кивает на него Сергею Львовичу Вяземский.

— Мало, мало быть грозным мужем! Надо быть еще и мудрым мужем! — патетически произносит Сергей Льво-

вич, подымая голву. Но на это очень досадливо замечает Пушкин:

— Считать себя мудрым может всякий, кто угодно... при том условии, конечно, ежели живет он среди круглых дураков.

Явно обиженно глядит на него отец, говоря:

— Не знаю... не знаю, как понять твое замечание, мой друг!

— В самом общем смысле... кроме того, вам даже более, чем мне самому, известно, что мне уже за тридцать лет! — объясняет Пушкин.— Кстати, Петр Андреич, я не знаю, говорил ли тебе, кажется, нет? — на «Полотняный завод» забрались двадцать шестого мая два калужских мещанина поздравлять меня с днем рождения... Вот до чего я стал уже популярен!

— Но это не та популярность, которая нравится женщинам, Александр!..— живо вмешивается Сергей Львович.— Поэта, артиста, художника женщина может любить только как дорогую игрушку: на вре-мя!.. А ученого, например, а?.. Ученый же ведь тоже может быть иногда популярен, как у нас, скажем, Ломоносов, в Пруссии — Гумбольдт... Но как-то даже странно и подумать, чтобы женщина, красивая женщина, царица балов, любила ученого! Как она могла бы его любить? только как курьез, как редкость!.. Но мне кажется... мне кажется... я не хочу тебя обидеть, Александр! Я говорю вообще, как ты только-что сказал вообще насчет умного среди дураков... мне кажется, что кра-са-вица отдать свое сердце все целиком может только воину, вот! — И он подымает голову и смотрит на сына победоносно.

— А так как нет такой женщины, которая не считала бы себя красавицей, то сердца всех женщин вообще на вечном постое в казармах! — продолжает его мысль Вяземский, улыбаясь.

— И лагерях!.. Но ты забыл о себе самом,— напоминает ему Пушкин.

— А ты разве твердо уверен в том, что сердце моей жены в моем письменном столе? — щурит глаза Вяземский.

— L'amour — c'est une maladie, Александр! Но если из вас двоих влюблен только ты... в свою невесту разумеется, то-о...— начинает было Сергей Львович, но Пушкин, вскочив и начиная метаться по комнате, перебивает его:

— Ну — да, ну — да! Все это мне известно! Влюблен только я в нее, а она ко мне, я знаю, вполне равнодушна, но зачем мне говорить об этом? Я и не спрашивал ее об этом, потому что было бы это очень глупо, а я во всяком случае не дурак! Я только сделал ей предложение, и оно принято! И я считаю это своим величайшим счастьем! Я хотел бы говорить с вами совсем не о том... Любит ли она, да подхожу ли я к ней,— это уж позвольте мне знать самому! Мне вот и моя будущая теща не нравится, и мало ли что еще? Однако я иду на это! Я просто выхвачу Натали из ее гнезда и унесу!

— Как коршун! — добродушно, по-старушечьи смеется, глядя на него, мать...— Ах, Саша, Саша!

— Как кто вам будет угодно, хотя бы и коршун!

Однако Сергей Львович догадывается уже, о чем хочет говорить с ним сын и начинает сам:

— Но мы с твоей матерью немедленно ведь послали тебе благословение, и я выделил тебе из своего имения 200 душ, о чем знает вот наш друг Петр Андреич... Ты же, кажется, хочешь сказать, что тебе этого мало? 200 душ, нигде еще незаложенных!.. Тебе ведь известно, что я сделал дарственную с месяц назад?

Вяземскому начинает казаться, что разговор скоро перейдет в ссору, и он подымается, говоря:

— Мне очень надобно быть сейчас в одном месте.

— Куда вы? Куда вы, дорогой Петр Андреич! У нас сегодня будет гусь с капустой,— пробует удержать его Надежда Осиповна.

— C'est un plat écossais!. Куда вы? Мы не отпустим вас, не отпустим! — хватает его за локоть Сергей Львович.

— Мне и самому не хотелось бы уходить,— хитрит Вяземский,— но ведь я служу, служу, и мой патрон Канкрин, это такйо из немцев немец! Я обязан быть у него не позже, как через полчаса... До свиданья, Надежда Осиповна!

Он целует сухую жилистую руку старой мулатки и прощается с ее мужем, но Сергей Львович крепко зажимает его руку в своей, желая все-таки его удержать:

— Это непозволительно! Нет, нет, я буду на вас сердит! Уходить в такую минуту — нет, это непростительно!

— Ведь я — чиновник особых поручений, и только,— выкручивается Вяземский.— Посмотрим, какие поручения даст мне сегодня Канкрин... Вдруг он скажет: «Немедля поезжайте к Пушкиным!» — И я сейчас же приеду, клянусь честью!

И он прощается с Пушкиным, делая ему предостерегающий жест глазами и уходит.

— Вы говорили о войне и женской любви... Может быть, вы и правы... Одно время я хотел пойти по военной службе, но вы мне не разрешили! — говорит отцу Пушкин, проводив Вяземского.

— Потому что я не был настолько богат, чтобы мой сын, достойно моей фамилии, блистал в гвардии, вот почему! — горячо отзывается отец.

— И тем не менее, тем не менее ваш сын женится на первой красавице своего времени... как только-что вы слышали, сказал Вяземский!..— подчеркивает Пушкин самонадеянно и самодовольно.— Но я, конечно, не хочу, чтобы моя жена терпела нужду... Думаю, что и вы этого не хотите?

— Я, конечно, понял, с чем ты сегодня пришел ко мне! Тебе наговорили там, в Москве,— может быть, твоя будущая тещa,— что я даю тебе мало — двести душ, нигде незаложенных! — горько качает головою Сергей Львович, а Надежда Осиповна обращается к сыну бурно:

— Ты разве не знаешь, как расстроены наши дела? А

мы слышали, что твоя красавица совсем бесприданница! Я не хотела говорить этого при Петре Андреиче, но теперь я скажу тебе, что умный человек, каким ты себя считаешь, этого ни за что бы не сделал! — и черные глаза ее в пустых мешках век блестят злым огоньком.

— А-а! Вот что! — начинает ходить по комнате Пушкин.

— Потому что умный человек не захочет портить себе всей жизни из-за одного только медового месяца! — продолжает мать тем же тоном.— Ты берешь красавицу и как-будто совсем не хочешь знать того, что все знают: красота, мой друг, уживается только на богатстве!

— Красивый, тепличный цветок любит оранжереи! И жирную почву он любит, вот что! — поддерживает жену Сергей Львович.

— Оранжерея тут совсем ни к чему! — машет рукою Пушкин.— За Натали все-таки дают приданое, не скрою, скромное... Однако я говорил пока только с ее дедом, и это он дает... Должна дать еще что-то и мать Натали, я с нею не говорил еще об этом.

— Нам передавали, что у нее 2 000 душ в Волоколамском уезде! — говорит Надежда Осиповна. — Она вдвое богаче нас. Она должна дать ей хорошее приданое, твоей Натали, еще бы! Младшая дочь и самая красивая и самая послушная, конечно, она у нее самая любимая!

— Я в этом не сомневаюсь... Но надо же сыграть свадьбу! А для этого надо наличные деньги, а не какие-то там сомнительные души! Я не могу явиться в Москву с пустыми руками, поймите! — кричит Пушкин и при этом ходит по комнате столь ожесточенно, что дребезжат безделушки на этажерке.

— Нельзя ли потише ходить, мой друг! Все трясется в гостиной, и воздух жужжит! — замечает ему мать, поднимая руки к ушам. Пушкин останавливается.

— Я могу и стать!..— зло говорит он.— Сдвинется ли

от этого с места вопрос о деньгах, необходимых мне на свадьбу?

— Заложи те двести душ, какие я тебе дал, у тебя будут деньги! — отчетливо советует отец.— Но если ты начинаешь свою женатую жизнь с того, что закладываешь имение, то... дальше-то, дальше-то что ты будешь делать?

— В Кистеневке, какую вы мне дали, не двести, а, насколько мне известно, около 500 душ, дьявольская разница! — не отвечает на вопрос Пушкин.— И ведь это не родовое ваше имение, а досталось вам от вашего брата, а моего дяди... И не так давно, всего лет пять назад... Кистеневка явилась для вас просто подарком с небес... Ведь я и сам мог бы быть наследником дяди Петра!

— Однако же не был! — живо вставляет мать.

— Ты мог бы быть и наследником своей тетки Анны Львовны! — поддерживает ее отец.— Однако наследницей ее стала Ольга, а не ты, а ты смог только написать на ее смерть гнуснейшую эпитафию! Пасквильные стишонки, от которых был вне себя и добряк такой, как твой дядя Василий Львович!

— Ну, это уже слишком!..— кричит Пушкин.— Вы даете Ольге ежегодно по 4 000 рублей, Левушка стоит вам, как мне известно, больших денег... Возможно, что именно он и намечен вами в наследники... В конце концов это меня не интересует, поймите, но мне стыдно, неловко мне, считаясь женихом Натали, иметь такое жалкое состояние, что из-за отсутствия у меня денег откладывают, и откладывают, и откладывают свадьбу! Мне стыдно!

— А мне? — становится в трагическую позу Сергей Львович.— А мне сколько раз было стыдно за тебя, моего сына? За тебя, который так чернил меня в глазах света? Сколько раз я сгорал от стыда? И я, и твоя мать тоже! Поверь, что твоей близкой женитьбе мы рады, рады! Быть может жена твоя, хотя и молода она, это плохо! — способна будет тебя переделать... по пословице, по русской пословице: женишься — переменишься!

Но в столь же трагическую позу, как и отец, становится Пушкин, крича:

— А если мать невесты моей мне откажет, когда узнает, что ничего, ничего не даете вы мне, кроме этих ничтожных двухсот душ?

— Это будет значить только, что она не ценит тебя! — находит, что ответить мать.

— Да, да, вот именно! Значит, тогда она распишется в том, что не ценит тебя, которого ценит вся Россия! — вполне соглашается с женою Сергей Львович.

— Как-будто вы, родители мои, цените меня! Ка-кое лицемерие! — горько говорит Пушкин.

Сергей Львович разводит возмущенно руками и почти шипит, вытаращив серые глаза:

— Нет, это что же такое, а? «Лицемерие»? Нет, он становится невозможен! Я лучше уйду! Говори с ним сама, если можешь, а я уйду! — И он выбегает из комнаты.

— Я тоже могу уйти! — порывается выбежать за отцом Пушкин.

— Постой! Куда ты? Сядь! — останавливает его мать.— Ты прежде не был так жаден к деньгам... Вот что значит жениться на бесприданнице!

— Мама! Поймите, что же это такое — 200 душ? — жалуется матери на отца поэт.

— Ты можешь получить с имения до 4 000 рублей ежегодно... вот что это такое! — объясняет мать.

— Мне сейчас, сейчас нужны деньги... много денег!.. Сейчас, а не через год, не через два!..— кричит Пушкин.

— Что же делать! Заложишь в Воспитательном доме... Тебе дадут тысяч сорок...— находит выход Надежда Осиповна.

— Сорок? Вот видите! Сорок! И это все!.. И больше я ничего не выжму из этого лимона!.. А между тем мне нужно гораздо больше... Между тем у меня ведь неотложные долги...

В это время с письмом в руках входит Сергей Львович, говоря вполне уже спокойно:

— Ну, вот... Письмо из Москвы... Только-что получено... И незнакомый мне почерк...

И он еще ищет лорнет, чтобы прочитать письмо, как Пушкин, кидаясь к письму, кричит:

— Это она! Это Натали! Она говорила, что напишет по вашему адресу!.. Это Натали!

Он выхватывает у отца и целует письмо, но вдруг, разрывая конверт, говорит в ужасе: — Что если это отказ? Я не переживу этого!

— Но письмо ведь, кажется, адресовано нам с твоей матерью! Ты хочешь читать чужое письмо? — изумленно бормочет Сергей Львович.

— Я только... хочу знать... не отказывает ли мне... Натали,— пробегает глазами начало письма Пушкин.— Ура! Нет! Я еще жених!.. И она очень нежна с вами!.. Мне нужно прочитать его в одиночестве... Я сейчас принесу его, не бойтесь!

И он выскакивает из комнаты, преображенный радостью.

— Смотри, как он ее любит, свою Натали!.. Он околдован ею! — изумленно замечает мать.

— Он бывал иногда еще более груб с нами, но... но... но настолько глуп, как теперь, он кажется никогда не был! — пожимает плечами Сергей Львович и долго качает головой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дача у Крестовского перевоза, где жил Дельвиг. Большая комната с видом из окон на Неву и Крестовский остров. 7 августа 1830 года. У Дельвига Пушкин. Поздний вечер, но светло, так как пора белых ночей еще не миновала. В комнате фортепиано.

Несколько вкрадчиво и тревожно спрашивает Пушкина Дельвиг:

— А правда, Пушкин, моя Лизанька, ведь она похожа больше на меня, чем на Соню? Правда, ей всего три месяца, но сказать кое-что определенное все-таки можно, а?

— Драгоценный мой, радость моя, ты уж двадцатый раз спрашиваешь меня об этом! — тормошит его Пушкин.

— Ты, конечно, как друг мой старинный, двадцать раз и говорил, что похожа именно на меня, но мне хотелось бы... большего беспристрастия,— вглядывается в него Дельвиг.

— Тащи ее сюда,— решает Пушкин,— мы ее рассмотрим тут у окна как следует!

— Если ты не шутишь, я сейчас!

И Дельвиг уходит в другую комнату и входит снова с ребенком, завернутым в одеяльце.

— Вот так заботливый папаша! — изумленно смотрит на него Пушкин.— Неужели и из меня выйдет такой же?

— Смотри! Смотри внимательно! Она спит, ничего... Вот, видишь, какая линия лба? Видишь, какая крутая? Ведь это моя линия! — проводит по своему лбу пальцем заметно встревоженный Дельвиг.

— Да-а, да-да, конечно! И лоб твой... И носик, как у тебя, картошечкой... Вылитая — ты, моя прелесть! Как две капли воды — ты! — улыбается Пушкин.

— Ради бога, только не шути! Я спрашиваю у тебя совершенно серьезно! — умоляет Дельвиг.

— Ну, послушай, чудак ты, на кого же она еще может быть похожа? Правда, Софья Михайловна тоже блондинка, но форма лба твоей девочки действительно не материнская, нет!

— Ты замечаешь? У Сониньки лоб прямой... и даже чуть-чуть покатый, а у Лизы крутой, как у меня... Ты согласен? — живо жестикулирует Дельвиг.

— Ну, еще бы... Это ясно, как день. Но она что-то начинает кряхтеть, а? Вот-вот проснется и заплачет... Неси-ка ее в люльку!

— Все говорят, что похожа на меня бесспорно!

— Уверяю тебя, что сейчас проснется и заплачет!

— Нет, она спит, хоть из пушек пали! — успокаивает друга Дельвиг.

— Это ли не явное доказательство, что дочка в папашу! Спит, как барон! А все-таки неси ее в люльку, а то проснется, и сразу пропадет сходство!

Дельвиг уносит девочку и возвращается снова с гордым заявлением:

— Не проснулась, нет! Она очень тихий ребенок, каким был и я, по воспоминаниям фамильным... Только если до четырех лет не будет говорить, как я не говорил, будет плохо.

Тихо входит Сомов, сотрудник Дельвига по выпуску «Литературной газеты», тощий человек, несколько старше Пушкина.

— А-а! Орест Михайлыч! Здравствуйте! — первым замечает его Пушкин.

— Здравствуйте! Вот не думал вас встретить сегодня!

И Сомов здоровается с ним и Дельвигом, значительно поглядывая на обоих.

— Вот на! Почему не думали? Стряпаете № 45 нашей газеты? Что в нем будет, кроме скучнейшей, между нами говоря, статьи Катенина? — интересуется Пушкин.

Но Сомов глядит на него в недоумении и говорит горячо:

— Я ничего не понимаю, простите! Неужели вы совсем никак не хотите отозваться на очередную гнусность Булгарина?

— Какую гнусность? — дергается Пушкин.

— Где гнусность? В «Пчеле»? — спокойно спрашивает Дельвиг.

— А ты читал сегодняшнюю «Пчелу»? — обращается к нему Сомов.

— Нет, и в глаза не видал, признаться! А что?

— А я провел сегодняшний день в таких домах, где не встретишь «Пчелы»,— говорит Пушкин.— А что такое еще написал обо мне этот мерзавец?

Сомов вынимает из бокового кармана свернутую газету.

—Вот, № 94-й... не угодно ли... «Второе письмо из Карлова на Каменный остров»... Тут не только вы, Александр Сергеич, тут мы все, сотрудники «Литературной газеты»... смешаны с грязью... А вам посвящены такие чувствительные строки (читает у окна): «Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке также подражатель Байрона, происходя от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц. В ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, которого каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что он купил негра за бутылку рому. Думали ли тогда, что к этому негру признается стихотворец? Vanitas vanitatum!..» Что вы на это скажете?

— Это все? — ожидает продолжения Пушкин.

— Вот мерзавец!.. За-бав-но! — отзывается мрачно Дельвиг.

— А что бы еще вы хотели? — спрашивает у Пушкина Сомов.

— Очень хотел бы набить негодяю морду!..— сжимает кулаки поэт.

— Как можно касаться морды бенкендорфовского шпиона!— делает вид, что ужасается, Сомов.— Булгарин,— лицо официальное... И газета его почти официальная... но «почти» это легко можно похерить!

— На дуэль его вызвать?.. Он откажется, конечно, стреляться!— думает вслух Дельвиг.

— Такого негодяя нельзя вызывать на дуэль!.. Палкой его, палкой, как бешеную собаку!..— кричит Пушкин и начинает ходить в раздражении по комнате.— Дельвиг, без ответа этого выпада оставлять нельзя! Надо ответить в нашей газете немедленно! В 45-м номере!

— Но разве тебе не ясно, что он затем только и написал это, чтобы вы ответили? — говорит Дельвиг.— А наш ответ будет разжевываться самим Бенкендорфом!

— Все равно! Нельзя, нет! — кричит Пушкин. Нельзя подобных вещей оставлять без ответа! «Пчелу» читают везде, и все знают о Пушкине и его прадеде — действительно негритянском принце! Он выставляет меня на-смех перед всей Россией, а я буду молчать? Нет, не буду!.. Теперь я понимаю, почему мне никто не сказал сегодня об этом гнусном пасквиле! Все прочитали, все его поняли и решили, что в доме повешенного не следует говорить о веревке! Хорошо же! Мы сейчас же напишем статью, сейчас же!.. Кстати, о революции в Париже ничего печатать нельзя, Орест Михайлыч?

— Что вы, что вы, Александр Сергеич! Даже самое слово «революция» раз и навсегда воспрещено, разве вы забыли? А вместо «революционер» можно писать только «разбойник»! И то это если говорить об отходе плебеев на Священную гору, что случилось, как известно, задолго до рождества христова...

Продолжая бешено ходить по комнате, думает вслух Пушкин:

— А не написать ли мне самому царю? Царь ко мне в последнее время очень мил, говорят... За отзыв о 7-й песне «Онегина» он приказал же намылить Булгарину шею!

— Однако, незаметно было, чтобы Бенкендорф намылил ему шею действительно! — замечает Дельвиг.— И когда выйдет твой «Годунов», вот увидишь, Булгарин напишет, что автор, мол, имел в виду, когда писал, с одной стороны, восстание декабристов, с другой — революцию в Париже в июле 1830 года! А Борис и Лжедимитрий — это просто аллегория, чтобы не сразу догадались умные люди!

— Он может написать и это, ты прав!.. Он все может написать, этот мерзавец, потому что — агент 3-го отделения! Но ответ ему мы все-таки напишем!

В это время за дверями голоса и хлопанье других дверей.

— Кажется, пришли баронесса и генеральша со свитой...— игриво говорит Дельвиг.

— Они читали сегодняшнюю «Пчелу», не знаешь? — живо спрашивает Пушкин.

— Откуда же им было ее взять, когда и у меня ее не было? Ведь мы на даче, ты забываешь об этом! — и Дельвиг весело глядит на Пушкина, но тот испуганно говорит вдруг:

— Этот гнусный листок, его ведь кто-нибудь может подсунуть там в Москве, моей Натали, и тем расстроить мою свадьбу!.. Ну, хорошо... хорошо... Пока забудем об этом... После!

Входят: Софья Михайловна Дельвиг, Анна Петровна Керн, Михаил Иванович Глинка, Михаил Лукич Яковлев, Сергей Абрамович Баратынский, Александр Иванович Дельвиг.

Кокетливая 23-летняя жена Дельвига говорит от дверей:

— Ну, вот мы и нагулялись и захотели чаю!.. А-а! У нас Александр Сергеич!

То, что из всех вошедших никто не читал сегодняшней «Пчелы», весьма радостно для Пушкина, и он кричит:

— Ка-кое блестящее созвездие! Я ослеплен!

Целует руки Софьи Михайловны и Анны Петровны и здоровается с другими.

— Красавицы и композиторы, и певцы, и поручики, и медики! С таким воинством можно не только Булгарина уничтожить, но и революцию в Париже сделать!

— Вок кстати, революция в Париже! Вы не узнали ли что-нибудь о ней? — спрашивает Анна Петровна, а Софья Михайловна добавляет:

— Я вас так просила об этом, Александр Сергеич! Вы не забыли?

— Прекраснейшая, я для вас обегал все дома знатных вельмож в Петербурге! Где же и можно узнать о революции в Париже, как не в гостиных знати?..— преувеличенно патетически отвечает Пушкин.

— Вы нам расскажете? — спрашивает Керн.

— О-о, непременно, непременно! Закрой окно, барон, чтобы не подслушал Видок-Фиглярин... который один только и нужен... кое-кому, кое-кому!

Дельвиг затворяет окно. Все рассаживаются. Миниатюрный Глинка садится на диван между дамами, и одна из них, Анна Петровна, укутывает его, зябкого, своим вязаным платком. Пушкин ходит по комнате и вдруг говорит, останавливаясь перед Софьей Михайловной.

— Софья Михайловна! Ваше произведение прелестно! Мы только-что всесторонне знакомились с ним вместе с вашим соавтором... Самое важное, что оно совершенно спокойно!

— В папашу! — догадывается Софья Михайловна, о ком говорит Пушкин.

— Я уж говорил ему это... И оно не боится ни цензуры, ни всяких гнусных пасквилянтов... Кстати, барон! Погляди-ка, какой крутой лоб у этого медика!

Тут Пушкин хлопает по плечу Сергея Баратынского. Дельвиг обеспокоенно глядит на Баратынского, тот непонимающе глядит на Пушкина и Дельвига, хватаясь за свой лоб, а Пушкин продолжает:— Итак революция в Париже... Она уже окончилась, друзья мои! Она не успела начаться, как уже окончилась!

— Раздавлена? — спрашивает Александр Дельвиг, племянник поэта, поручик.

— Напротив, совсем напротив! Она победила!.. Она продолжалась всего три дня: — 27 июля начались баррикадные бои и 29-го окончились. Окончились победой восставших! Неожиданно, а? Победой!

— Не только неожиданно, не-по-сти-жимо! — отзывается Глинка.

— Значит теперь во Франции республика? — хочет поскорее узнать Керн.

— Пушкин! Неужели республика? От кого ты узнал? — кричит Яковлев, лицейский товарищ Пушкина.

Пушкин торжествующе оглядывает всех.

— Кому еще хочется, чтобы во Франции была «режь, публика», как говорил Шишков?

— Говорите уж, не томите! — просит Софья Михайловна.

— Друзья мои! Я узнал ошеломляющую новость! Ее мне сказали в двух знатных домах, где я был сегодня... Дельвиг! Ленивец сонный! Стань со мною рядом. (Подтаскивает к себе Дельвига.) Итак, «слу-шай-те все-е!» Есть такой сигнал военный, его на рожке играют... Поручик, правда?

— Есть, есть,— подтверждает поручик Дельвиг.

— Итак... Революцию в Париже начали мы с Дельвигом! — торжественно и вполне серьезно говорит Пушкин.

— Пушкин! Не шути же! — кричит Яковлев.

— Ты думаешь, что я шучу, или с ума сошел? О, мой лицейский староста, я говорю вполне серьезно! Я только пропустил два слова: «такие, как»... Такие, как мы с Дельвигом, то-есть, жур-на-ли-сты!.. Революция — слушайте все! — началась из-за отмены королевским ордонансом 26 числа закона о свободе печати!.. Свобода печати была дана Карлом X, свобода печати была отнята тем же Карлом X... За то, что свобода печати была дана, его превознес Виктор Гюго; за то, что начались процессы против печати, его освистал Беранже! А за то, что отменил он свободу печати он свержен был с трона, этот Карл Простоватый! Вот что такое журналисты во Франции!

— Значит, Карл уже не король? — восклицает Глинка.

— И Франция не республика? — недоумевает Кери.

— Запутанное положение! — определяет Яковлев.

— Напротив, напротив! Все распуталось очень просто, и теперь, говорят, все столоначальники снова на своих местах,— успокаивает всех Пушкин.

— Кто же был предводитель восстания? — спрашивает Сергей Баратынский.

— Предводитель восстания? Журналист Тьер! Автор «Истории великой революции» в 10 томах... Журналисты пошли строить баррикады! Вот она, сила, свалившая Карла

Бурбона! К журналистам пристали рабочие типографий и начали бить камнями стекла в кабинетах министров... Потом подоспели студенты-медики, вы, Баратынские, и студенты политехнической школы, и начались баррикадные бои!

— Жестокие? — справляется Софья Михайловна.

— Едва ли... Сведения на этот счет туманны... Будто бы часть солдат маршала Мармона сама перешла на сторону журналистов, так как и солдаты во Франции любят не булгаринскую «Пчелу» и даже не «Литературную газету» нашу, а настоящую свободную печать! Мармон бежал в Сен-Клу к королю и Полиньяку.

— Значит, теперь Полиньяка повесят на фонаре? — предполагает Глинка.

— Я уже бился об заклад на бутылку шампанского, что Полиньяка повесят!..

— Но что же, в конце концов, творится теперь во Франции? — спрашивает Яковлев.

— Вот именно теперь? Это я также знаю, как и ты! Говорили, будто республики кое-кто испугался, и пригласили герцога Орлеанского, Луи-Филиппа.

— На престол? — спрашивает Керн.

— Будто бы, как регента при внуке Карла... Но это пока плохо известно — даже и в знатных петербургских домах...

— Ты однако принес такие важные известия, а мне не сказал с приходу! Почему? — недовольно несколько говорит Дельвиг.

— Как почему? Да ведь тебя мучил вопрос гораздо более важный, чем какая-то там революция в какой-то Франции! А меня мучил свой вопрос, тоже важный, я так думаю! — отвечает ему Пушкин.

— Будем писать ответ? — находит удачным тихо спросить Пушкина Сомов.

— Кому? Куда? — беспокоится чуткая Софья Михайловна.

— Не бойтесь, не бойтесь! Вы думаете, что мы будем

поздравлять парижских журналистов и Тьера? Нет! — успокаивает ее Пушкин.

— Но ведь не может же быть, чтобы у восставших не было предводителя из военных? — спрашивает Александр Дельвиг.

— Ага! Загорелось поручичье сердце! — шутит Пушкин.— Называли старого рыцаря Лафайета, но что он такое там делал, узнать я не мог... Кроме того,—постойте-ка,— назывался еще банкир Лаффит... И кажется, что роль Лаффита была важнее, чем роль Лафайета!

— Признаться, я бы выпил, сейчас стаканчик лафита! — мечтает Глинка.

— Роль Лаффита и для нас важнее? — отзывается Пушкин.

— Ему просто холодно, как всегда! — Будем ужинать, я вам дам лафита... а пока на-те вам еще и мой платок! — И Софья Михайловна накидывает на голову Глинки свой теплый платок. Все смеются, так как Глинка под двумя теплыми дамскими платками действительно смешон.

— Ха-ха-ха! Только такого штриха и нехватало, чтобы мы были похожи на клуб якобинцев!— хлопает в ладоши Пушкин.— Но ставить и разыгрывать революции могут только французы! На это у них природный талант... Попытались было наши поставить революционную пьесу на Сенатской площади, и до чего же жалкая чепуха у них вышла!

— Вот вас тут в «клубе якобинцев» шестеро мужчин, Глинку уж я не считаю...— начинает Софья Михайловна.

Но Глинка из-под теплого платка загробным голосом вопит:

— Счи-тай-те!— И все хохочут.

— Хорошо, хорошо, буду считать и вас, так и быть,— семеро мужчин...— продолжает Софья Михайловна.— И вот вообразите, баррикады... Кто бы из вас пошел на баррикады?

— Ого! Ого! Так их, баронесса! Так их! — ликует Пушкин.

— Дельвиг Антон сказал бы: «Баррикады? Забавно!.. Что же, пусть их будут баррикады, только, пожалуйста,— я двести раз говорил это! — не будите меня раньше десяти утра!» — очень похоже подражает мужу Софья Михайловна. Все смеются.

— Хо-ро-шо вы знаете своего мужа! В лицее ни на один первый урок никогда не могли его добудиться,— говорит Яковлев.— Ну, а я, как вы думаете?

— Вы-ы? Вы увидали бы развороченную мостовую и дальше там баррикады строят,— право не знаю, как это там строят! — и сказали бы: «Чорт знает что! Опять ремонт,— ни пройти, ни проехать!» — и свернули бы в переулок,— без запинки и тоже похоже на Яковлева по манере говорить, представляет Софья Михайловна.

— Вы ко мне безжалостны! Ну, а Серж Баратынский? — лукаво спрашивает Яковлев.

— Вам уже сказали, что медики дрались на баррикадах! — говорит Керн.

— Нет, я хотел бы послушать, что скажет Софья Михайловна, у которой Серж в фаворе!

В голосе Яковлева звучат ревнивые нотки, и Дельвиг упорно смотрит на Баратынского.

— Как русский медик, Серж был бы сразу по обе стороны баррикады,— решает дело с Сержем Софья Михайловна, но Серж не согласен:

— И оперировал бы кого придется? Не по уставу, не по уставу, Софья Михайловна! — протестует он.

— Да и противно законам физики! — улыбается Александр Дельвиг, но Яковлев горячо возражает ему:

— Что для женщины законы физики и все уставы, если ей хочется кого-нибудь возвести в герои?

— А поручик Дельвиг? — кивает на поручика Пушкин.— Софья Михайловна, а я, я где был бы по-вашему?

— Вы во всяком случае были бы вместе с восставшими!— решает за подругу Керн.

— Вы были бы предводителем, как Тьер, предводителем

журналистов и прочих! — отвечает Пушкину Софья Михайловна.

— Если бы против меня шли Булгарины, тысячи Булгаринов.... О-о!..— сжимает кулаки Пушкин, и лицо его сразу краснеет.

— Вы бы им сделали конечно пиф-паф!..— беспечно говорит Софья Михайловна.— А поручик Дельвиг...

— Раз только увидел бы он на баррикадах Александра Сергеича, немедленно сдался бы ему в плен! — поспешно заканчивает за нее сам поручик Дельвиг.

— Браво, поручик!..— хлопает ему Пушкин.— Правда, вы тоже журналист, наш брат, на-аш!

— Софья Михайловна, а я-я? — несчастно, плаксиво изпод двух платков заявляет о себе Глинка.

— Мы говорим только о человеках, а вы не человек, вы гном!

— Ну, хорошо, но вот вдруг... баррикады! И как же тогда я?

— Если бой будет жаркий, то вы будете чувствовать себя не плохо, я думаю! — острит Анна Петровна.

— Если около баррикад будет фонарь,— вы будете на фонаре,— определяет наконец место Глинки Софья Михайловна.

— Сидеть... или висеть? — допытывается Глинка, и все хохочут.

Из-за окон с Невы доносятся звуки рогового оркестра.

— Едут! Едут мимо! Михайло Иваныч, слышите? Нарышкинцы!

Глинка, отбрасывая платки, кидается к окну и аплодирует.

— Ах, мои милые! Можно открыть окно?

— Вы замерзнете! — кричит Софья Михайловна, но отворяя окно, Глинка подымает руку.

— Молчание! Изумительно!.. Изумительно!

Однако музыка обрывается внезапно.

— Должно быть столкнулись с другой лодкой? — догадывается Пушкин.

— Какая жалость! Этот оркестр — единственный в мире! — вздыхает Глинка.

— Вот подите же! А Потемкин, который его взял, был всего только генерал, а не композитор,— удивляется Пушкин.— Но он был талантливый человек! Он умел устраивать придворные празднества, как никто; в одну ночь выстраивать деревни на Днепре, купаться в серебряных ваннах; быть мужем Екатерины; брать турецкие крепости; сажать в Крыму кипарисы... все это затем, чтобы умереть где-то в пустой степи под открытым небом...

— Какая жалость! — качает головой Глинка.— Они, конечно, будут играть где-то дальше, но мы не услышим.

Он закрывает окно. Подходит к фортепиано, сбрасывает крышку и берет несколько аккордов, имитируя роговой оркестр.

— Михаил Иваныч, сыграйте нам что-нибудь свое!..— просит Керн.

— Брр... Холодно!... Но мне кто-то обещался дать стаканчик лафиту! — напоминает Глинка.

— За ужином, за ужином! — машет рукой в его сторону Софья Михайловна.

— Радость моя, дайте ему сейчас, иначе он не разогнет пальцев! — упрашивает ее Пушкин.

— Ну, если уж вы просите, так и быть! — соглашается она и уходит за лафитом.

— Жестокосердая! — пытается рычать в догонку ей Глинка.

— В самом деле, ведь как будто холодно, а, Александр Сергеич?

— Ну, что вы, что вы!— разогрет булгаринским выпадом Пушкин.

— Что же все-таки, будете писать ответ? — спрашивает его Сомов.

— Непременно... Немного позже мы это обдумаем втроем.

Входит Софья Михайловна со стаканом вина для Глинки.

— Только не пейте сразу, а то простудите горло... О вас нужно заботиться, как о ребенке!

— Ваше здоровье, нянюшка!— игриво провозглашает Глинка и пьет залпом.— Вот теперь мне гораздо теплее.

— Что вы хотите сыграть? — допытывается Керн.

— Что?

Глинка садится за фортепиано и шаловливо кивает в сторону Пушкина.

— Раз здесь Пушкин и м-м Керн, то я не только сыграю, я еще и спою... один романс.

— Браво, браво! Какой? — кричит Пушкин.

Но Глинка, сделав несколько рулад, как интродукцию, с совершенно неожиданной для его маленьких детских рук силой, аккомпанируя себе, поет камерным тенором:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья,
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Когда он, варьируя музыку каждого куплета, кончает романс, и на глазах Керн, и на глазах Пушкина слезы. Среди дружных аплодисментов и криков «браво» Пушкин подходит к композитору, крепко его целует, потом подходит к Анне Петровне, и, став перед нею на одно колено, долго и почтительно целует ее руки.

Александр Дельвиг, влюбленный в Керн, ревниво глядит на Пушкина, в то время как Антон Дельвиг столь же ревниво внимательно глядит на Сергея Баратынского.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Конец августа 1830 г. Гостиная в доме Гончаровых в Москве. В гостиной Наталия Ивановна и толстая московская дама Бильбасова, пожилых лет, которая изображает крайнее изумление на сдобном, неспособном к выражению чувств лице только тем, что выпучивает глазки, и говорит придушенным голосом:

— Уверяю вас, Наталья Ивановна, все ахнули, ре-шительно все, все ахнули, вся Москва, когда увидели вашу Натали рядом с ее женихом на балу вчерашнем!.. Что же это такое? Нет, что же это в самом деле такое?.. Ну, пусть он там известный поэт, и «Кавказского пленника» написал очень чувствительно,— я помню, читала,— и мне даже нравилось,— но ведь это же урод-уродом!.. Уверяю вас, когда они были рядом,— он и Натали,— все изумлялись: «Ах, пожалейте же ее,— говорили,— пожалейте первую московскую

красавицу!.. Идет замуж за Пушкина!».. Ведь, душечка, Наталья Ивановна, если такие, как Натали, выходить будут замуж за таких обезьян, то, милая моя, ну, зачем же тогда и красота?.. И хотя бы уж очень богат был или положение имел высокое, а то... что он, наследство что ли большое думает получить?

— Какое наследство? От кого наследство? — презрительно поводит высокой голой шеей Гончарова.

— Как же так вы?.. Не понимаю, простите меня, грешную!.. Что же у него есть?

— Двести душ! Вот что у него есть!

И Бильбасова всплескивает руками.

— На-таль-я Ивановна! Го-лу-бушка! Да зачем же вы губите дочь свою? Такого ангела и вы губите!.. Ведь это вы на всю жизнь делаете ее несчастной!

— Ах, я и сама не знаю, как это вышло! Это все старик, все он! Это Афанасий Николаич мне внушил! Кроме того, фантазия какая-то вдруг появилась у Натали! Я ведь ее спрашивала, я ее при всех спрашивала на пасху: «Ты согласна?.. Отвечай прямо: согласна или нет?» Она и отвечает: «Согласна!» Вскружила ей голову и сестрица ее: «Пушкин! Пушкин»...— А я тоже поверила, что его на место Карамзина царь историографом сделает, что он при дворе будет... Но ведь сколько месяцев прошло, ничего еще нет!

— Ничего и не будет!.. Разве не знают при дворе, что это картежник и пьяница? Да ведь у вас только сговор был, что же тут такого? После сговора разве не расходятся сплошь да рядом? Брак считается таинство, а сговор — дело домашнее...— наставляет Бильбасова.

— Разумеется! Будто Пушкину и отказать нельзя!.. А Давыдов богат? — спрашивает Наталья Ивановна о том, кого предлагает в мужья Натали Бильбасова.

— Ну, еще бы Давыдов беден!.. Сколько он меня расспрашивал о Натали! И все с одним рефреном: «Чудо как хороша!.. Чудо как хороша!»... Если бы только я ему

не сказала, что была у Натали с Пушкиным помолвка, непременно бы предложение сделал!

— Да... Вот... Так как-то это вышло поспешно, ненужно, очертя голову!.. А к чему? Зачем? — очень огорченно сетует Наталья Ивановна. Однако же я ведь не прятала Натали под замок, я ее начала вывозить вот уже года два... Отчего же этот Давыдов... Или он не москвич? В какой губернии его имение?

— В двух... или даже в трех... Да есть и в московской, только небольшое.

— Ска-жи-те! Даже в московской!.. А я и не знала!.. А этот Пушкин, между нами говоря...

— Картежник...— решительно аттестует поэта Бильбасова.— Говорят, весною же, когда вы Натали с ним сговорили, двадцать пять тысяч он проиграл!..

— Так это правда? Правда?— вскидывается Наталья Ивановна.

— Всем известно! Все говорят!.. Кажется, и до вас дошло, а? Только вы не верили.

— Я не хотела верить! Одна я не верила!.. Одна я не могла понять: как же так он? Собирается осчастливить мою дочь, и вдруг... проигрывает 25 тысяч! Чем же, чем хочет он ее осчастливить? — заламывает голые до локтей руки Гончарова.

— Да ведь двадцать пять тысяч это только то, что всем известно, в Москве, а сколько еще долгов неизвестных? А в Петербурге разве он не играл? Разве он без этого может? Как пьяница без вина, так и картежник без карт!.. Он, я думаю, больше век-се-ля подписывает, чем пишет!.. Кто у него первый друг в Москве? — Нащокин, говорят! А Нащокин этот нигде не служит, делать ничего не делает, только в клубе в карты играет! — наушничает Бильбасова и очень волнует Гончарову.

— Да! Да, я вижу, вижу!.. Это была такая ошибка с моей стороны, такая ошибка!.. А все он, старик, мой свекор!.. Вообразил, представьте, что Пушкин ему сразу все сделает!

«Все министры с ним на равной ноге, везде он вхож»... Как будто нет у меня при дворе родной сестры.. а также тетки, которая... Знают они, как во дворце смотрят на Пушкина!.. Но вот долбил и долбил, бубнил и бубнил, пока своего не добился!. А что же вышло? Где это пособие в триста тысяч, какого он добивался? Вот Пушкин приехал, а где же 300 тысяч?.. Вы знаете наши дела, Вера Ильинишна, вам нечего объяснять!.. Конечно, будь такое пособие, отчего же? Хотя старик и прикарманил бы из него большую, конечно, часть, но все же! Натали он все-таки любит, она у него с малых лет жила... Но ведь ничего нет, ни-че-го не-ет! Ничего нет, поймите! И остается опять все один только Пушкин! Один только Пушкин! А трехсот тысяч нет!.. Один только Пушкин, у которого бездна, бездна карточных долгов!.. Ужасно! — и в глазах Гончаровой самый неподдельный ужас перед будущим Натали.

А Бильбасова добавляет:

— Карточных долгов сейчас, а потом что? Кто даст поручательство свое, что он не будет их делать и женившись на такой прелести, как Натали? Горбатого одна только могила исправит, одна только могила, а не жена!.. Ну, голубушка, Наталья Ивановна, засиделась я у вас, и ноги-то у меня болят, а подыматься надо!

Она встает и тянется губами к губам Натальи Ивановны.

— Отчего же ноги болят? Ревматизмы? — спрашивает участливо Наталья Ивановна.

— Кто говорит, что ревматизм, кто — подагра... А по ночам просыпаюсь, руки немеют!

— Молиться надо! — внушает Гончарова.

— Я молюсь... И лечусь также... Пилюли какие-то вонючие, бог с ними, глотаю, а пользы от них что-то не вижу... Ну, пойду уж... А насчет Давыдова подумайте: может еще и удастся...

Идет с трудом. Наталья Ивановна берет ее под руку и вместе с ней выходит в переднюю, крича в боковую дверь:

— Дашка!

Прибегает Даша, на бегу обтягивая чехол кресла, на котором сидела Бильбасова, и скрывается в передней. Входят Екатерина Николаевна и Александра Николаевна, и вторая возмущенно говорит первой:

— Ты знаешь, зачем приезжала эта толстая Бильбасова? Кажется, она хочет разбить свадьбу Натали с Пушкиным!

— Что ж... Если она сватает кого-то другого...

— Как это «кого-то другого»? Давно всем известно, что Пушкин... И Натали уж привыкла... И вдруг кого-то другого!.. Кого это именно? И почему он будет лучше, чем Пушкин? — горячо выкрикивает Александра.

— А может быть он богат!.. А что такое Пушкин?— непримиримо презрительно говорит Екатерина, уходя в другую комнату с сестрой.

Из передней входят Наталья Ивановна и Даша, которая снова бросается к креслу оправлять, как следует, чехол.

— Дашка! Позови поди теперь Блюмберга сюда! Он в сережиной комнате,— приказывает Гончарова, а Александра, решительно входя, спрашивает:

— Мама! Эта Бильбасова — она приезжала зачем?

И вопрос этот и тон чрезвычайно удивляет Наталью Ивановну.

— Что-о это за вопрос такой? Какое тебе дело, зачем приезжала м-м Бильбасова?.. А полог, который я обещала в нашу церковь, вы с Катрин вышиваете?

— Полог?.. Нам уже немного осталось,— увядает Александра.

— Вот лучше полог поди принеси, я посмотрю.

И Александра уходит, но тут же входит Блюмберг, седой, бритый, краснолицый, в коричневом сюртуке с приходо-расходной книгой в руках, управляющий имением Гончаровой.

— Ну, вот, Христиан Иванович, теперь мы можем с вами дальше вести разговор, правду сказать, чрезвычайно для

меня неприятный. Садитесь вот здесь,— небрежно указывает на стул Наталья Ивановна.

Блюмберг садится, раздвигая полы сюртука, и начинает энергично:

— Что делайт, что делайт, многоуважаемое Наталь Ивановно, что делайт! Русски пословицо есть одно: «Самой трудной дело ест три: отец-мать кор-мить, блоха ловить, долг свой платить»... Думаю так, что последнее — найтруднейша штука!

Надевает вынутые из футляра очки и раскрывает книгу.

— Вот! Здесь оно вот все! Первый предмет: восем тысяч восем сот и шестьнадцать рублей с копейками... долг — проценты Опекунский совет!.. Вот!.. Первое!.. Я очень любопытен знать, как вы можете сказайт на эттот предмет?

Но Гончарову только раздражает такая торжественность.

— Что такое я должна сказать вам? Вы должны сказать мне, чем и как предполагаете вы платить, а совсем не я! У вас на руках все мое хозяйство...

Блюмберг добросовестно задумывается и беззвучно шевелит губами.

— Этто так, этто так! Этто все ест прекрасно: я должси знайт! Однако... Однако я как-то так не совсем твердо этот предмет знаю... Гм... Пойдем далее! Московски ломбард — долг эттот год, процентов, итого... вот оно «итого»: шесть тысяч девять сот и восемьдесят пять... с копейками... Итого...

— Хорошо-хорошо! Вы мне скажите, можете ли вы внести эти все проценты так, чтобы мне очистилось, по крайней мере, десять тысяч?

Такое прямо поставленное требование приводит Блюмберга в ужас.

— Десять тысяч? А?.. Многоуважаемо Наталь Ивановно, это ест ваша шутка, а?.. Эттот год попался нам очень неблагородный! Овес... как это называет... подмок! Рожь — оччень плохой урожай!.. А цена? Восем рублей ассигнаций четверть!

— Я ничего не хочу знать! — машет руками Гончарова.— Ничего, ничего, ничего! У меня итак полон рот хлопот и забот! У вас за уплатой процентов должно мне очиститься десять тысяч! И больше я ничего не хочу знать!

— Многоуважаемо Наталь Ивановно!.. Кто такой ест, какой управляюще, чтобы даст десять тысяч? Такой человек нэт! Только один ест бог там... там!— показывает в ужасе на потолок Блюмберг.— Прекрасно! Я продаю инвентарь — живое, мертвое — все!.. Я вам доставлю десяйт тысяч!..

— Доставите? Ну вот! Ну вот видите! — радуется Гончарова.

— Но тогда как будуще год, а? Это будет погибше имение! Этто будет крах! Все! Конец!..— трагическим голосом докладывает Блюмберг.

Но тут появляется Терентий с огромным букетом чайных роз и гвоздики. Многозначительно улыбаясь, он подносит букет Наталье Ивановне, и та сразу забывает о скучных цифрах и расчетах.

— Откуда это? Ка-кая прелесть! Кто прислал? Ка-кая роскошь! — и, закрывая глаза, нюхает цветы, и на лице ее восторг неподдельный.

— Кто прислал, я это самое и сам спрашивал... Однако лакей букет оставил, а сам пошел в карету...— сообщает Терентий.

— Как это? Уехал и даже не сказал от кого? — удивляется уже Гончарова.

— Говорил, барыня, будто есть тут записка.... То-есть в самом букете — в середине. И кому букет и так же точно, от кого именно...

— А-а! Есть, действительно... Ну, иди теперь! Вы, Христиан Иваныч, так меня расстроили, так расстроили!

Но Блюмберг отрицает это удивленно и с соответствующим жестом.

— Разве я? Я — нэ-эт! Этто бог расстроиль! Бог не дал урожай!

— Вот что, вы пройдите опять в комнату Сержа... Мне сейчас надо поговорить с дочерью... А эта страшно неприятная книга ваша — потом, потом...— отмахивается от страшной книги Гончарова.

— Н-ну, я понимай, понимай... Я все понимай...— самоуверенно говорит Блюмберг, встает, откланивается и выходит.

Наталья Ивановна, отворяя другую дверь, кричит:— Натали! Натали! Даш-ка! Позови ко мне барышню,— и любуется букетом, отставляя его на длину вытянутой руки.

— Что, мама́? — скромно спрашивает Натали, входя.

— Погляди, какую роскошь тебе прислали!

— Кто? Пушкин?

— Да, как же, Пушкин! От Пушкина дождешься! Это он, это Давыдов, я догадалась!.. Вот записка! — торжествует Гончарова.

— Какой Давыдов? А-а, это вчера, на балу?... А что в записке?

— В записке всего три слова: «Царице вчерашнего бала»... Подписи, как видишь, никакой нет... Но я ведь знаю, кто тобою вчера был восхищен, мне передавала Бильбасова.

— Мама̀! А разве может мне кто-нибудь присылать букеты, раз у меня есть жених? — удивляется Натали.— Это разве не считается за дерзость?.. Я ничего не понимаю, мама̀! — и обиженно отходит к окну, чем выводит несколько из себя мать.

— За то я понимаю!..— повышает она голос.— А тебе пока еще незачем это понимать!.. Ах, какая прелесть — букет! И какой аромат!... Une fleur sans parfum, c'est une femme sans intelligence!.. Знай это! Ты — глупышка!.. Как ты смеешь рассуждать, когда у тебя есть мать, которая в состоянии за тебя подумать?.. Ты — невеста, да, это все знают, однако твой жених что-то не спешит мне показать, как именно он тебя осчастливит!.. Он должности себе не ищет!

Он делает большие карточные долги, почему? Как он смеет их делать? Он мне говорил еще в начале мая, что будет печатать какую-то свою книгу и за нее получит большие деньги... Где эта книга? Где эти большие деньги? Будто бы царь разрешил печатать, но... под его личную ответственность... Я сама читала это письмо Бенкендорфа, если только оно не подложное: «Под вашу личную ответственность»... Я тогда еще ему говорила: «Ох, это что-то значит!» Оказалось действительно, значит! Я была права... Знай, что пока он не достанет денег, свадьбе все равно не бывать!.. А ему не-от-ку-да достать денег!

— Как так «неоткуда»? Совсем, совсем негде взять ему денег?..— удивляется Натали.— Странно! А он говорил мне, что скоро заложит свое имение и привезет деньги.

— Ну, сколько же он получит, если и заложит! А кредиторы его? Ведь они, как волки, следят за ним! Так же, как и наши за нами... Дашка! Даш-ка!

— Звали, барыня? — вбегает Дашка.

— Налей в ту, в синюю вазу воды, букет поставить!

— Сейчас, барыня,— Дашка хватает вазу и стремительно выбегает, а Наталья Ивановна кричит ей вслед:

— Не разбей, сумасшедшая! — и все еще любуясь букетом, нюхает цветы.— Какое сочетание ароматов: чайная роза и гвоздика! Понюхай, Натали!

Но Натали чертит по стеклу пальцем и отвечает неожиданно упрямо:

— Я уже нюхала, мама!

— Ты что это, а-а? — почти кричит мать,— ей прислали букет, как «царице вчерашнего бала», а она недовольна! (Подвигаясь к ней.) Ты недовольна?

Натали испуганно отступает. Даша приносит вазу с водою. Наталья Ивановна устанавливает в вазе цветы и говорит Даше: — Поставь на этажерку!

Даша ставит вазу на этажерку и выходит.

— Вот подъехал Пушкин, мама! — говорит обрадованно

Натали от окна.— Я не понимаю, мамà... значит, вы ему откажете?

— Подъехал Пушкин?.. Вот как некстати!.. А впрочем, все равно, что ж...

— Значит, вы ему сейчас откажете, мамà? — допытывается Натали.

— А тебе как-будто этого не хочется?.. Во всяком случае, иди к себе: мне с ним надо поговорить одной... Я теперь обо всем, обо всем буду с ним говорить и говорить серьезно! Теперь иди! А может быть он достал деньги, тогда... Во всяком случае иди, иди...— И так, как слышен уже голос Пушкина в передней, она добавляет: — Я тебе сказала: Иди!

И берет Натали за плечо. Та передергивает плечом, оглядывается на дверь в переднюю и медленно уходит.

Входит Пушкин. Целует руку Натальи Ивановны, которая говорит холодно:

— Александо Сергеич! Здравствуйте!.. Что, схоронили своего дядю? Садитесь!

Усаживаясь, принимается рассказывать о смерти Василия Львовича Пушкина:

— Схоронили в Донском монастыре... Жаль! Был он большой добряк, очень любил и меня и поэзию... На похоронах был буквально весь литературный мир Москвы... Все-таки и здесь, как в Петербурге, есть свои партии, но они объединились у его могилы все: и братья Полевые с князем Вяземским, и профессор Погодин с кн. Шаликовым из «Дамского журнала», и профессор Снегирев с поэтом Языковым, и бывший министр юстиции Дмитриев с племянником, которого мы зовем Лжедмитриев!.. Все, все... Он был настолько беззлобен, мой дядя, что совсем не имел врагов! И он был настоящий литератор: он умер, имея le cri de guerreá labouche...Он нам с Вяземским сказал перед смертью: «Как скучны статьи Катенина!». А статьи Катенина помещаются в нашей «Литературной газете»... Они о поэзии греческой, о поэзии еврейской, о поэзии вообще, и действительно страш-

но скучны!.. Бедный дядя! Его любимый поэт был Беранже, и перед самой смертью он хотел что-то найти в томике его песен...

— Что же вы все статьи о поэзии да Беранже! А он исповедался-причастился перед смертью, ваш дядя? — строго перебивает Гончарова.

— О-о, все это было сделано, не беспокойтесь! Даже мазан был миром. И именно, когда мазали миром, он вздохнул в последний раз и умер.

Подозрительно на него глядя, говорит Наталья Ивановна:

— Если это действительно так, как вы говорите насчет миропомазания, то это хорошо. Это показывает, что кончина вашего дяди была действительно христианской... Духовное завещание он успел сделать? — круто переходит она на деловой тон.

— У него было несколько шкафов с книгами,— весело отвечает Пушкин.— Эти книги в шкафах стояли в три ряда, и что нибудь найти там, в шкафах, мог только мой дядя, и больше никто... Может быть, часть этих книг достанется когда-нибудь мне, так как они едва ли будут интересны наследникам...

— Ка-ак наследникам? Ка-ким наследникам? Я слышала, что Василий Львович, ваш дядя, был в разводе со своей женой! Откуда же у него наследники? — изумляется Гончарова.

— Мой дядя только разошелся с женой... Кроме того, у него была вторая, незаконная уже жена, и от нее дети...

— Но ведь незаконная семья не имеет прав на наследство! Александр... Сергеевич! Вы — поэт, и ваш дядя тоже поэт был, следственно вам, именно вам, а не кому другому он должен был завещать имение!.. Я так на это надеялась, и вот!.. Ведь это вы говорили мне, что он о вас заботился в молодости гораздо больше, чем ваш отец?

— Он меня определял в лицей...

— Ну, вот, видите!.. Он должен был оставить наслед-

ство вам, именно вам, а не какой-то там... особе с левой стороны! — передергивает ноздрями Наталья Ивановна.

— Ее зовут Анной Николаевной,— уточняет Пушкин.— Она пеклась о нем вот уж сколько лет... Дядя мой, как истый поэт, был сущий младенец в жизни...

— Послушайте, так значит смерть вашего дяди не принесла вам ничего? Решительно ничего?

— Кроме скорби и кроме расходов на его похороны,— нет, ничего.

— Вы и хоронили его даже на свой счет? — удивляется Гончарова.

— Да, похороны пришлось мне взять на свой карман, потому что у семьи дяди не было денег... Просто, как-то их не случилось... Дядю долго мучила подагра, он лечился, на это уходило много средств... Кроме того, он был исключительно хлебосолен...

— Одним словом, деньги, какие вы будто бы привезли на свадьбу себе, ушли на похороны вашего дяди? Так? — перебивает резко Гончарова.

— Вышло почти-что так!— соглашается Пушкин, и Наталья Ивановна спрашивает его насмешливо:

— На что же вы надеетесь в таком случае?

— Все надежды мои на дедушку Натали, — скромно говорит поэт.

— Ха-ха-ха!.. Но ведь это же, это анекдот! Анекдот!

— Правда, мои хлопоты о пособии кончились ничем, Канкрин решительно отказал, я вам говорил уже это и писал дедушке.. Что делать? Я сделал, что мог. Я действовал и в обход Канкрина, и тут вышла неудача. Не понимаю, почему. В Англии помогают промышленности, у нас она в загоне, и только фронт и парады, парады и фронт.. Однако расплавить статую Екатерины позволили ведь... И я думаю, что ее продали уже за те сорок тысяч...

— Которые выдумал во время бессонницы старик? —перебивает Наталья Ивановна. Та-ак!. Кто ему давал за статую 40 000? Не было такого дурака! Это его фантазия!

Итак, вы серьезно, вполне серьезно, надеялись получить деньги от старика? Что же это? Ветренность или легкомыслие, или, простите, что-нибудь еще с не столь благозвучным именем? И такой, как вы, собирается стать мужем Натали!.. Разве вы, ли-те-ра-тор, не поняли до сих пор, что это за старик? Ведь вы знали же, что он просорил миллионы, готовые миллионы, сбереженные отцом его и дедом! Золото! Золото, какое шло к его деду из Англии во время войны ее с Америкой... Ведь парусина с «Полотняного завода» шла на паруса во флот в Англии... И все ушло сквозь пальцы у этого гнусного мота, который заботился только о своих прихотях, по два раза в неделю давал балы, содержал француженок, а уж француженки уме-ют высасывать золото из карманов русских дураков! И вот, в результате, страдаем мы!.. Дарственная запись, какую дает он на имя Натали!..

— Очень сомневаюсь, чтобы она что-нибудь стоила,— перебивает Пушкин.— Неслыханно огромный долг на такое ничтожное количество душ... Если бы мы сейчас продали даже это имение...

— Кто его купит с таким долгом?..— зло перебивает Гончарова. Я думаю, все-таки, что вы поговорили, как следует, со своими родителями там, в Петербурге... Правда, вы ничего такого не писали в письмах, но ведь не все можно доверить письму, я это понимаю... Вы что-нибудь получили от них еще, кроме двухсот душ, а? Наверное получили! — и она кивает головою, вызывая его на положительный ответ, который так ей нужен.

— Н-нет, не удалось сговориться...— виновато отвечает Пушкин.

— Не удалось? Как?.. Значит, вот эти двести душ, какие вы собираетесь закладывать, это и будет все, что останется на вашу совместную с моей Натали жизнь? Все, что останется вам, ей и вашим детям?

— То-есть, как все?.. Я несколько не понял, простите.

И Наталья Ивановна повторяет раздельно и с ударе-нием:

— То, что вы полу-чите от своих родителей, это все! Вы как-будто чего-то ожидаете от меня? Вы надеетесь, может быть, на ту или иную часть моих Яропольцев?.. Не на-дейтесь! Дела в моем имении слиш-ком расстроены! Долги на моем имении о-чень велики! Все доходы с имения идут исключительно на уплату про-цен-тов!.. Раз и навсегда го-ворю: я лично дать за Натали ничего не могу и не дам! Вы поняли меня или нет?.. Ни одной души! Так и знайте! — и несколько мгновений глядя на поэта зло и в упор, она отворачивается от него круто.

Пушкин после долгой паузы, обескураженно, даже вполголоса, как бы искательно говорит:

— Может быть, Натали согласится пойти за меня и без приданого?

— То-есть вы хотите сказать, что она согласится век просидеть в вашей этой нижегородской деревне, какую со-благоволил выделить вам ваш родитель? — резко спраши-вает Гончарова.

— Она будет жить в Москве, конечно, а не в деревне... Мне и самому нечего делать в деревне. Я — писатель. Мои интересы все в столицах, а не в деревне,— повышает голос Пушкин.

— А на какие же средства будете вы жить в столицах с Натали, когда и одному вам нехватает тех денег... ну, которые вы будто бы получаете за свои стихи? — язвит Гон-чарова.

— Почему же «будто бы»? Я их действительно полу-чаю.

— Но делаете гораздо больше долгов, чем получаете!.. Знайте, что Натали — моя любимая дочь! И я ее не вы-швыриваю так вот, куда попало, только бы не была она в моем доме!.. Когда выдают замуж дочь, то думают прежде всего о том, чтобы она не нуждалась!

— Разговор мой с вами становится очень для меня тя-

жел, но я постараюсь сдержаться... Я позволю себе только одно добавление к вашим словам: если мать думает, что дочь ее в замужестве будет нуждаться, то она дает ей все-таки хоть какие-нибудь средства,— замечает Пушкин.

— О-о, я знаю, я знаю, я отлично знаю, что вы хотите сказать! Вы хотите сказать так: «У вас 2 000 душ и три дочери. Выделите каждой по 600-700 душ, вот у Натали и будет приданое!»— вдруг напрягается вся, как струна, Гончарова.

— Я не совсем это хотел сказать,— думает потушить пламя Пушкин, но оно уже разгорелось не на шутку, и кричит уже по-хозяйски властно и безоглядно Наталья Ивановна в сильнейшем раздражении.

— Нет, это, это, это, это, это! Я знаю! Я вижу! Я пони-ма-ю, что только на моем имении вы и строили все свои расчеты! Но мое имение — есть мое имение, вы слышите? Мое, и ничье больше!! Обеспечивать моих и Гончарова дочерей должен отец их, Гончаров, а если он сумасшедший, то его опекун, вот кто! Старик Гончаров должен дать вам приданое за Натали, а не я!.. Но ведь он его дает по дарственной записи! Он дает, а вы почему-то... не-до-воль-ны!.. Вот так он и мне дает на расходы с моей семьей! И вы хотели бы, чтоб я раздала свое родовое имение дочерям, а сама... ожидала бы великих и богатых милостей от своего свекра? Спасибо! Спа-си-бо вам!

Пушкин уже не может больше сдерживаться, он вскакивает.

— Позвольте, позвольте, Наталья Ивановна!

Но Наталью Ивановну ничем уже невозможно утихомирить.

— О-о, этот мерзкий старикашка! Он привез сюда, на «Завод», из Парижа прачку, прачку Бабет,— кричит она.— И поселил ее там, в большом доме наверху, а я со всей семьей жила внизу, как-раз под нею! И каждый стук ее башмаков впивался мне в мозг, как гвоздь, как гвоздь! Как вот такой гвоздь (показывает свой указательный палец). Сюда мне

в голову, в мозг! А по утрам я обязана была подниматься наверх и спрашивать ее, прачку Бабет, спокойно ли она провела ночь, прачка Бабет! Я должна была унижаться, я должна была от нее терпеть все, все, все! Она меня третировала, как горничную... почему? Потому что у этого гнусного старика она была любовницей и потому дороже ему в тысячу раз, чем вся семья его сына! Чем я и все шестеро детей от несчастного его сына, потерявшего разум!.. А кто довел его до потери рассудка? Он, он, старик! Старик довел до сумасшествия свою жену, он же выбил рассудок и из сына... И всякий становится сумасшедшим, кто с ним имеет долго и каждый день дело!.. Это — сумасброд, который всех, всех вокруг себя отравляет ядом!.. Мой муж!.. Он управлял делами «Завода»... Приехал из-за границы старик и мужа отставили от дел... Мой муж был вне себя... На охоте он мчался верхом, чтобы как-нибудь забыться, на охоте aux chiens courants. Он упал с лошади на всем скаку и от того потерял рассудок...

— Я это слышал...— вставляет наконец Пушкин.— Однако же вот вы сохранили рассудок... Хотя Афанасий Николаич действительно полон всяких химер, но, вы, прожившая с ним рядом столько лет...

— А-а, вы хотели бы, чтобы и я потеряла рассудок? — перебивает Гончарова.

— Помилуйте, Наталья Ивановна, что вы!

— Не беспокойтесь! Не потеряю! А Яропольцы мои и будут мои! Ни одной души из них я не отдам за дочерьми и не продам для их приданого, нет!.. Это — мое приданое! Оно было моим приданым и будет, вы слышите? Вы думаете, что я не могу еще и сама выйти замуж? Как только мужа моего признают невменяемым и учредят опеку над ним, я свободна!

Она упирает руки в бока и поднимает голову.

— Вы полагаете, что я с двумя тысячами душ не найду себе вполне приличного мужа?

— Отчего же?.. Тем более, что вы еще не потеряли... э-э... привлекательности,— в замешательстве говорит Пушкин.

— Кра-со-ты!.. Красоты, да!— вызывающе кричит Гончарова.

— В этом уверена относительно себя одна из моих хороших знакомых, великосветская дама, а ей уже пятьдесят... на балы она является с голыми плечами, и плечи у нее действительно красивы...

— Я не нуждаюсь в ваших сравнениях с кем-то там, вы слышите, мсье Пушкин?

И Пушкин дергается на месте от ее крика, как от удара арапником.

— Я слышу! Да, я слышу, но я не привык, чтобы кто-нибудь говорил со мною таким тоном!.. Может быть, прачка Бабет, о которой вы вспомнили сегодня, и говорила таким именно тоном с вами, но со мной, женихом своей дочери, вы напоасно... напрасно так говорите!

— Же-ни-хом моей дочери?..— насмешливо тянет Гончарова.— Да, вы помолвлены, но-о... но я вижу, что вы необеспечены, не-ет, г. Пушкин! У вас всего двести душ где-то там... в какой-то глуши...

— В Нижегородской губернии, в селе Болдине... Они не заложенные и может быть стоят больше, чем перезаложенные тысячи! Вот я поеду туда, чтобы ввестись во владение, потом приеду в Москву, заложу их здесь и у нас с Натали будут деньги на свадьбу и прочее, если надежды на бронзовую бабушку лопнули...

— Не-ет! Этого мало, не-ет! Все, что вы получите с вашего именьица, уйдет на проценты по долгу... в опекунский совет!

— По какому долгу?

— Хотя бы по тому, какой дарит Натали ее дед... Что, вам кажется таким ничтожным долг в 168 тысяч!

— Мы не будем платить этих процентов! Мы продадим это имение тут же! — решительно заявляет Пушкин.

— А-а! Вы уже рассчитываете его продать, еще не получивши? Та-ак! Хорош нашелся будущий муженек Натали! Потом вы продадите свое нижегородское Болдино, и у ваших с Натали детей не будет ни души родовых. Хорош будет муженек у моей Натали!.. Значит, вы все-таки рассчитываете на выгодную должность, с богатым окладом, какую вы получите?

— Нет, я не способен служить, и на это вы не надейтесь! Я могу писать, но не служить! — твердо говорит Пушкин.

— Так? Отлично! Я вижу, что я в вас совершенно ошиблась! Натали! Натали! — визгливо кричит она в дверь.

Натали входит. Пушкин ей кланяется, не подходя. Она отвечает ему слабым наклонением головы.

— Что, мама?— с детства заученным тоном говорит Натали.

— Натали, я совершенно ошиблась в г. Пушкине! Я думала, что за такой срок, почти за полгода, он найдет себе службу, постарается занять положение в свете, постарается достать денег, а он...

Но Пушкин не дает ей договорить; он кричит:

— Натали! Если вы хотите подчиниться желанию вашей матери, для меня вполне очевидному, то вы свободны! Я возвращаю вам слово! Вы совершенно свободны! Я же даю вам слово принадлежать только вам или никому!.. Прощайте! — и он выбегает, а Натали в полнейшем недоумении обращается к матери:

— Мама! Что это значит?

— Что это значит?.. Это значит, что ты не будешь за Пушкиным, вот что это значит!.. Он не хочет служить, он не требует от отца, чтобы обеспечил его лучше... на что он надеется? Ты с ним была бы только несчастна! Да, да!.. И какая он тебе пара? Я когда посмотрела на него вдруг, когда он вошел,— я ахнула! Боже мой! За кого же я вздумала отдать свою Натали? Ведь это обезьяна! Это — сущая обезьяна, а не человек!

— Неправда, мама! — вдруг неожиданно для матери резко говорит Натали.

— Что-о? Как так неправда? Как неправда? — И привычно бьет ее по щеке мать.

Натали взвизгивает, бежит от матери и, пробегая мимо этажерки, выхватывает из вазы букет и бросает его в стену. Появляются Александра и Екатерина; у первой сверток атласной материи в руках.

— Мама! Вот полог...— невинно говорит Александра, протягивая сверток.

— Что-о?

— Полог, который мы вышиваем с Катрин...

— Про-очь! Прочь все с моих глаз долой!.. Про-о-очь!— топает ногами Наталья Ивановна и трясется от ярости всем своим большим и упитанным телом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Середина сентября 1830 г. Сельцо Кистенево, часть с. Болдина, вотчины Пушкиных. В церковной ограде толпа крестьян, среди которых выделяются двое: высокий важного вида, с рыжей бородой, пожилой староста и кривоглазый приземистый старичок с седыми усами и баками, отставной солдат в старенькой шинели и заячьей шапке; на шинели у него две медальки на розовых ленточках — серебряная и бронзовая.

Староста говорит отчетливо, как привык говорить с толпой:

— Как же это я могу знать, что вы меня спрашиваете? Зачем да к чему, почем я знаю? Мне даден приказ народ сюда к церкви собрать, вот, стало быть, я и собрал.

— Может это по царю служение? Годов пять назад...— начинает было один мужичок, но отставной солдат перебивает, передразнивая:

— По ца-рю-ю!.. Эх, серость!

— Говорю, годов пять назад нешто не было? Как царь-то помер наш Александра...

Но отставной солдат строг:

— Ты-ы потише с такими словами, слышь! Потише, тебе говорю. А то, брат, тебя за такие слова...

— Вобче, может, приказ какой объявят?.. Подушные там что ли, али еще чего...— пытается догадаться другой.

— Ну да, манифест, одно слово! — находит настоящее слово третий.

— Это от барина нового приказ собраться, а ты — манифест! Барин у нас теперь явился новый! — объясняет староста.

— Во, братцы! А? Новый барин у нас!.. Поэтому старый побывшился? — весело спрашивает четвертый.

— Как это побывшился? И вовсе он живой! — говорит староста.

— Поэтому продал нас кому, али в картишки мотанул?

Староста смотрит на говорящего с недоумением.

— Ты откуда же взялся, что не знаешь? Сын этот старому барину! На выдел мы к нему отошли, а ты городишь чего зря, пустомель!

— Наше дело, известно, темное...

— Вот ты говоришь: «выдел», а я так слыхал своими ухами, будто помер! — вступает еще один в разговор, и староста объясняет расстановочно:

— Есть, который и помер, только это не наш помер, а евонный братец Василий Львович... Этот, диствительно, мне камардин Микита Андреич сказывал, в Москве схоронен... А наш Сергей Львович — он живой... А выдел у него отчего потребован? Жениться старшому сыну приспичило, вот по какой причине.

— Он как, из военных? — строго спрашивает солдат.

— Не-ет, он так, вобче... Ничего барин, сходственный...— отвечает староста.

— В шляпе ходит... Я, его отдали видал! — говорит один в толпе.

— Стало быть, по штатской должности!— снисходительно определяет солдат.

— Будто,— говорил так камардин,—сочинитель,— считает нужным сказать староста.

— А это что же такое, стало быть, сочинитель?

— Книжки какие-сь сочиняет... А чтобы где был на должности, этого не слыхал.

Но отставной солдат строг даже и к барину:

— Стало быть, лодыря гоняет!.. Та-ак!

— А может, это на вывод нас куда погонят? А, братцы? — говорят в толпе.

— А куда он могет нас на вывод?

— Правду сказать, вот же у персияков мы земли сколько там отвоевали при генерале Ермолове...— вспоминает солдат.— Также, слыхать, было и у турков... Все может быть... Захотят, чтобы там православные наши жили, и... простым манером могут погнать!

— Ребята! Неужели на вывод? Стало быть, это барин наш новый нам вывод объявлять хочет? Ни в жизть не пойду! Удавлюсь, не пойду! Загонят тебя куда в не нашу землю, не нашей веры, ни тебе деревца округ, ни тебе водицы чистой, вот ты там сиди да куняй! — кричит один из толпы.

— Боже избави, на вывод! — добавляет другой, а солдат горячо объясняет:

— В этой Персии проклятой если, то там наш брат и не выживет — подохнет! Там сколько их, наших солдат, хоронить пришлось,— бездна, прямо, бездна!.. А по какой такой причине? — Чума! Перешла от персиян к нашим и пошла чесать!.. Там наших горемык от нее пропало, тёмно!

— А может войну объявлять будут? — соображает кто-то, а другой подхватывает:

— А не иначе ж как войну! Не иначе, так! Го-лов-ка бедная! И когда же это замирение со всем светом выйдет?

Староста глядит из-под руки к господскому дому и говорит степенно:— Вон и барин идут!

Кто-то спрашивает:

— С бумагой?

— Это зачем с бумагой?

— А чтобы читать нам по ней!

Отставной солдат возмущен:

— Вот уж дура-то ох, и дура! Что он тебе бумагу на виду несть будет за полверсты? А спрятать если, то карманов у него нету? Ну, и се-рость! Тьфу!

Из толпы говорят ему:

— По-мал-кивай, кривой! Ко-ман-де-ер!

— Хо-хо! Не идравится ему, ей-бо! Ажпык плюнул!

И кто-то хлопает по плечу солдата, а он зорко, по-военному приглядывается к подходящему новому барину.

— Не-ет! Нет, братцы! Этот на военной службе не служил, не-ет!— говорит он решительно.

— А что так? Почем ты замечаешь? — спрашивает староста.

— Ходи-ить не умеет! — горестно выдавливает сквозь зубы солдат.

— Как это ты? Не видишь что-ли-ча? Напротив того, ходить могуть шибко, а ты...

Но солдат горячо дергает головой в шапчонке:

— Понимаешь ты в шаге! Вихляется!.. Корпусом вперед подается!.. Ногой левой землю черкает!.. Эхх!.. Такого ежели б в строй, весь бы строй к чорту сгадил!.. Всю бы роту из-за одного такого с плацу погнали!.. А ты мне говоришь!.. Эх, серость!.. Военного бывшего, его, брат, даже в штатской одеже видать! У него нога обученая: сама знает, как ей на землю становиться!

Но так как новый барин уже близко, он подбадривается, развертывает плечи, выпячивает грудь.

— Как, братцы? Может, мне вам «смирно» скомандовать?

— Итак мы смирные!.. Тебе все знай командовать! — говорят в толпе.

Староста, стоя спереди, оборачивается назад.

— Ребята! Как я шапку сыму, все сымайте!

— Известно!.. Это — делов немного... А как же!.. Небось, мы смирные!— галдят в толпе.

Все прилежно глядят в одно место. Староста снимает шапку. За ним, кто проворно, кто медленно, снимают шапки все. Солдат держит свою заячью шапку так, как он привык держать ее по команде: «На молитву! Шапки долой!»

Подходит Пушкин. Видя, что все смотрят на него напряженно внимательно, он испытывает неловкость. Он кланяется туда и сюда, дергая отрывисто головой, но не снимая шляпы. Так он доходит до паперти и поднимается по ее деревянным ступеням. Дойдя до запертых церковных дверей, он снимает шляпу и крестится мелкими крестиками. Следя за ним пристально, начинает креститься и вся толпа. Пушкин поворачивается к толпе, сходит на верхнюю ступеньку паперти и надевает шляпу. Толпа остается в недоумении, что делать с шапками.

— Надевай, ребята, шапки, не лето!— кричит Пушкин.

Отставной солдат, подымая вдохновенно свою шапку, очень зычно командует:

— На-а-кройсь! — и следит, чтобы, не мешкая, накрылись все.

— Где служил, а? — спрашивает Пушкин солдата.

Отставной солдат, подбрасывая руку к шапке, зычно рапортует:

— Четвертой роты Ширванского полка, ваше благородие!

— А глаз левый где потерял?

— В сражении с персиянами, барин! Сарбаз меня это место саблей, а я его, ваш-бродь, штыком достал! Он мне за мой глаз ответил!

— Потом на барский двор придешь, мне расскажешь, как

воевал... Зайдешь там в людскую, мне скажут,— говорит Пушкин.

— Слушаю, ваше здоровье!— преданно отвечает солдат.

— Сходись сюда ближе, ребята! — кричит Пушкин.— Не буду я глотку драть на весь выгон!

И когда все сходятся к паперти очень тесно, начинает:

— Вот что, братцы мои любезные! Я — новый ваш барин — Сергея Львовича сын... Зовут меня — Александр Сергеич Пушкин... Это вам известно?

Староста, а за ним несколько других, отзываются:

— Известно, барин! А как же!.. В точности, ваше здоровье!

Отставной солдат отдельно и очень отчетливо:

— Так точно, ваш-бродь!

— Ну вот! Представление сделано!.. А теперь слушайте все, что я вам скажу... Надвигается на Болдино болезнь... Повальная! Моровая! Называется она — ко-ле-ра! Cholera morbus по-латыни... Никогда раньше такой болезни не было в России! И вот теперь она появилась... Колера!

— Как от нее люди колеют, то настоящая она колера!.. А то вот бывает еще чума, ваше здоровье! — живо отзывается солдат.

— Да, чума... Чумных я видел в Турции... Говорят иные, что это одно и то же... Идет эта болезнь к нам, братцы, из Азии... Сейчас она надвигается к нам из Саратовской губернии, с Волги средней... и уж захватывает Нижегородскую! Слышно, что она подвинулась даже к Москве, и власти повсеместно устраивают от нее такие посты, не церковные посты, а караулы... Называются карантины... Чтобы никто не мог ни пройти, ни проехать из местности зачумленной в местность пока еще здоровую... Поняли?

Отставной солдат отвечает за всех очень быстро:

— Так-точно, ваш-бродь!

Но потом раздаются и отдельные голоса:

— Говорили, будто так и есть! Будто мужики стоят с дубинками... Не пропущают, верно!

Пушкин нетерпеливо и повышая голос продолжает свою речь:— А почему это так вышло, что никогда прежде такой болезни не было в России, а теперь появилась? Потому что вы — лентяи и пьяницы, вот почему! Вместо того, чтобы оброк платить барину исправно, вы пьянствуете, на печке валяетесь! Вы что тут по зимам делаете? На печке спите? Староста!

— Тут, ваше здоровье, народ привычный зимою полозья гнуть, сани делать... а также рогожки плесть...— отзывается староста.

— Сани, сани! А как же! Кульки делаем! Рогожки! — подхватывает много голосов.

— Что ж, сани так сани, рогожи так рогожи... И хорошо, и отлично! Все это и делайте! И оброк чтобы платили исправно, смотри, староста! Будете платить исправно, и колера, вас, братцы, не тронет, обойдет сторонкой... А если оброка платить не будете, то эта самая колера притти к вам сюда не за-мед-лит, слышите?.. А это — болезнь смертельная, братцы! От нее человек, какой бы он богатырь ни был, в несколько часов кончается!

Раздаются встревоженные голоса:

— Ой!.. Вот так болезнь!.. Наказание осподне!

А Пушкин заканчивает торжественно:

— Если же случится так, что и холера придет, и вы от нее уцелеете, а оброка платить все-таки не будете, то будут вас сечь! Аминь!

И быстро сходит он с паперти. Из-за церкви выходит поп в широкополой черной шляпе.

— Здравствуйте, Александр Сергеич! — снимает он шляпу.

— А-а! Отец Василий!.. А я тут занял вашу крепость... Вы на меня не в претензии? — смеется Пушкин.

— Нет, отчего же-с... Народ наш темный, его учить на-

добно... Я полагал, что вы желали бы и молебен отслужить?

— Молебен? — очень удивляется Пушкин.

— Да... благодарственный...

— Благодарственный? Это по случаю прихода колеры?

— Что вы, Александр Сергеич!.. Я полагал бы по случаю ввода вашего во владение... Как вы теперь стали самостоятельный помещик в Кистеневке, надо бы возблагодарить господа!

— Необходимо, необходимо, да! Совершенно необходимо! А я, грешный, об этом забыл!.. А могу я, кстати, сказать своим мужичкам речь с амвона? Не проповедь,— проповедь, это по вашей части,— а речь? На свежем воздухе с этой паперти у меня что-то немного не вышло!

— Насчет моровой язвы и чтобы не пьянствовали... и касательно оброка, как вы говорили?

— Да-да.. А вы это слышали?.. Я хотел бы это развить.

— Я за углом стоял... Отчего же нельзя? Я думаю—можно. В храме же они и слушать будут прилежнее.

— Ну вот, и хорошо, и прекрасно! Открывайте церковь.

— Сейчас схожу за ключом...

А когда уходит за ключом поп, к Пушкину, подталкиваемый другими, подходит отставной солдат.

— Ваше здоровье! Конечно, народ тут серость одна, и сказать вам хочет и жмется... меня послали. Как вы теперь, выходит, наш господин, а мы все теперь ваши подданные, так вот... не пожалуете ли вы нам, что милость ваша?

— А что такое?.. Что пожаловать? — строго спрашивает Пушкин.

— Ну, так, самую малость... Просто сказать, на водку; ваша честь!— кланяется солдат, держа шапку «на молитву».

— Ха-ха-ха! Ну, и народ! Я им только-что против пьян-

ства, а они — на водку!.. После, после, ребята! После молебна дам! — кричит весело Пушкин.

И в ответ ему гудит вся церковная площадь множеством радостных голосов:

— Покорнейше благодарим, ваше здоровье!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Кабинет Пушкина в барском доме в Кистеневке. Ольга, бывшая Калашникова, дочь михайловского старосты Михайлы Калашникова, «неосторожно обрюхаченная» Пушкиным в 1826 году и теперь живущая с отцом и мужем в Болдине, приехав навестить Пушкина, стирает привычно тряпкою пыль со стола и подоконников. Пушкин ходит по комнате.

— Такая на дворе стынь и метель крутит, а в комнатах все одно пыль.... все равно, как и летом,— говорит Ольга.— И откуда она только берется!

— С потолка сыплется,— не задумываясь отвечает Пушкин и подходит к окну.— Да, метель... Рано кажется быть метелям.... Хотя уж вот и декабрь подходит... Пора быть метелям, как мне пора быть в Москве...

— Соскучились по невестушке?..

— Очень! И по друзьям тоже... Вот написал я здесь бездну, никогда еще столько подряд не писал, а прочитать некому!... Прочитал бы тебе, пожалуй, да ты ведь ничего не поймешь!

— Где уж нам, грешным, понять!— отворачивается Ольга недовольно.

— Серчай не серчай, а правда.

— А вот же Арине Родионовне покойнице читывали...

— Все равно, что себе самому вслух... Это верно я тебе говорю: хорошая баба, как ты, попадается очень редко, а понимающий читатель или слушатель, — все равно го-раздо реже, чем хорошая баба! — и внезапно подойдя к ней сзади, шаловливо спускает теплый платок с ее головы.

— Ой, барин! Что-й-то вы меня опростоволосили! вскрикивает Ольга.

— На тебя полюбоваться хочу! — любуется ею, как и за четыре года до того, Пушкин.

— Вам уж теперь невестушкой любоваться, а не мной, чумичкой!

— Ревнуешь?.. Жениться надо, пора... ничего не поделаешь... Таков закон природы... «Много было смолоду бито-граблено, под старость итти душу спасать»... Есть такая песня разбойничья...

— С женой не спасешься... а только нагрешишь больше.

— Вот ты сегодня какая строгая! Как архимандрит Фотий... Или уж мне поехать к Новосильцевым...

— Ну, да!.. Еще чего?.. В такую погоду ехать!— вскидывается Ольга.

— Не позволяешь?.. Тогда я к княгине Голицыной...

— То вам все писать мешают, барин, то вам по княгиням тоска!

Пушкин слегка хлопает ее по плечу, смеясь:

— Ревнуешь к Голицыной? Ха-ха-ха! Невеста моя тоже ревнует! Так мне за эту Голицыну голову вымыла, что я ржал и бился от удовольствия! Ревнует, а? Значит, любит! А мне кое-кто говорил, что она бездушная! У бездушной бы мимо ушей прошло, а Натали темперамент вдруг проявила! И к кому приревновала? К Голицыной! Голицына эта такой толщины, что ее дюжина хороших мужиков не обхватит!

— Такие-то мужчинам и нравятся...

— Ну, нет, благодарю покорно! Вот ты ведь мне нравишься, а разве ты — бочка?

— Смеетесь все, барин! Говорили мне, будто невеста ваша за другого выходит, а теперь...— грустно говорит Ольга.

— Было же, было там что-то! Было, а совсем не моя шутка... Со мною там мамаша невесты шутила... Да может быть и сейчас шутит... Был бы я в Москве, я бы шутить

с собою не позволил! А теперь делают там со мной, что хотят. Какой-то Давыдов!.. Чорт его знает, кто такой, кажется, князь... Один князь — Мещерский Платон — отстал, теперь другой... А вдруг холера нагнала еще и третьего? Люди женятся и от страха тоже! Вообразится, что один он непременно погибнет, а жена его даже и от холеры спасет, вот и готов, и едет предложение делать....

— А чего бы невесте вашей в Москве сидеть? Имения что ли нету? Все-таки в имении караул бы можно возле дома поставить...

— Чтобы не пускать ни холеры, ни Давыдовых? — подхватывает Пушкин.— Это умно ты сказала, да их, Гончаровых, самих из Москвы не выпускают!.. Там теперь и мой друг Баратынский сидит — заперся на все замки: ни сам ни к кому, ни к нему чтобы никто... А другой мой друг, Вяземский, сидит в своем Остафьеве — и тоже в Москву въехать не может.... Везде карантины, всех стеснили до невозможности, а зачем? Турки этих карантинов боятся куда больше, чем чумы, и правы, тысячу раз правы.... Выдумали от холеры какую-то хлорную воду! Чепуха! Холеры не надо бояться, вот и все от нее средство! А кто ее боится, тот непременно заболеет!

— Хотя бы к нам не пришла, в Болдино!

— И не придет! Я ее заговорил! Даром что ли я проповедь говорил в церкви?

— Уж проповедь! Мужики сколько смеялись! — улыбается Ольга.

— Лишь бы не плакали, да оброк платили... А то мне на свадьбу деньги нужны,— весело подмигивает Пушкин.

— Ну, я пойду уж, барин... Ребенка оставила в крике... Капризничает что ли... Что ни дам ему, все на пол швыряет, такой нравный!

— В папашу! Только бы холерой не заболел!

— Что это вы, барин, такое поминаете!— пугается Ольга и выходит. Пушкин некоторое время ходит по комнате, рассматривает свои бумаги на письменном столе, берет пись-

мо Натали, недавно полученное, перечитывает одно место из него и вдруг зовет в дверь:

— Никита! Никита, пойди сюда!— И Никита, старый слуга Пушкина, входит неспеша.—Вот что, Никита, голубчик, а что если нам попробовать в объезд всех карантинов? Не пробьемся ли мы на Вятку, а? А с Вятки на Вологду... А с Вологды уж в Москву....

— Это же выходит кругом света ехать, Александр Сергеевич!— ужасается Никита.— Так мы когда же можем доплуганить? Разве что к маю месяцу... Да еще грешным делом замерзнуть где можем... или почным бытом волки съедят!

— Ну, пошел, пошел теперь! И замерзнуть, и волки, и к маю!.. Какого же чорта буду я здесь сидеть? — кричит Пушкин.

— Ездили же, не сидели! Сколько уж вы разов ездили! А какой толк! Мое, конечно, дело подневольное, я собираться могу... Мне собраться недолго... А там воля ваша... По такой погоде, барин, только очень большая неволя может заставить ехать! — крутит седой головой высокий и прямой, как сталь, Никита.

— Хорош! Хорош, неволя! А мне разве не неволя? Петля! Я если здесь еще две недели просижу, с ума сойду! Когда же мы выберемся отсiода, когда? Ну, говори когда, если ты так умен? — пристает к нему Пушкин, и в голосе его почти отчаянье. Никита добросовестно долго думает, глядя в пол и говорит наконец:

— Бог его святой знает....

— Бог едва ли что-нибудь знает! — привычно для Никиты отзывается Пушкин.— А здесь тоска, здесь я не могу! Здесь меня еще того и гляди опять в холерные надзиратели назначат! Кое-как отвертелся от этого дурака Ульянина... Вздумал докладывать обо мне самому министру, болван: «Все-то дворяне такие паиньки, все-то с холерой воюют, один только Пушкин — стихотворец — воевать не хочет и все в Москву рвется!»... Не хотели, дубовые го-

ловы, в резон взять, что ведь не живу я здесь постоянно, как другие помещики, не живу, нет, и жить не намерен! А что случайно из-за той же холеры здесь застрял, так меня и тащи выдавать билеты в карантине? «Объявитель сего такой-то выдержал 14-дневный термин и выпущен в благополучном состоянии»... Лучше бы мне самому выдали такой билет да отпустили в Москву!.. Граф Закревский! Разорался, дурак! За женою бы лучше смотрел, а не за тем, почему Пушкин не служит! Пушкин служит, ослы вы! Пушкин и здесь, за карантинами сидя, написал в три месяца столько, сколько вы не наслужите за всю вашу безмозглую жизнь, вы, министры Закревские, и вы, предводители луковяновского дворянства Ульянины!.. Никогда я так запоем не писал, брат Никита! Я даже и о холере, чорт бы ее взял, написал! Правда, у меня она называется чума, а не холера, но это, кажется, одно и то же... А так как ты у меня тоже стихотворец...

— Ну, какой уж я стихотворец, Александр Сергеевич! Что про соловья-то разбойника написал? — скромно отмахивается Никита.

— А что же! И про соловья-разбойника.... Ничего, не хуже, чем граф Хвостов... По крайней мере у тебя нет ни голубей с зубами, ни змей с ногами... Слушай! Прочитаю тебе о холере, она же чума!

Когда могучая зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов,
Навстречу ей трещат камины
И весел зимний жар пиров.

Царица грозная, чума
Теперь идет на нас сама,
И льстится жатвою богатой,
И к нам в окошко день и ночь

Стучит могильною лопатой...
Чго делать нам? и как помочь?

Как от проказницы-зимы,
Запремся так же от чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы —
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие чумы!

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслаждения —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Итак — хвала тебе, чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы — розы пьем дыханье,
Быть может — полное чумы!

— Ну, что? Как находишь?

— Ра-зо-ча-рование!— восхищенно качает головой Никита.

— Что-о? Как разочарование? Так никогда не говори поэтам, это невежливо! Говори: О-ча-ро-вание! Разочарование

же это, братец, совсем обратное.. А на двор тебе не хотелось? — живо добавляет Пушкин.

— Надсмехаетесь, барин!— обиженно смотрит Никита.

— Нет, зачем же... Говорят, что при холере это-то именно и случается... Ну, вот что: поди-ка в людскую, узнай, можно ли ехать сейчас на почтовую станцию, или метель разыграться хочет... Спроси там старика Сивохина, он без барометра погоду за месяц вперед знает: должно быть медельянского кобеля на этом съел... Иди! — Никита идет в людскую узнавать от старого Сивохина — кучера о погоде, а Пушкин ходит некоторое время по комнате, щелкая пальцами и бормоча:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И бездны черной на краю,
И бездны страшной на краю...

Потом, остановясь около стола, начинает что-то писать гусиным пером, нагнувшись.

Однако тот же Никита, до людской не дошедший, снова входя, останавливается в нерешительности.

— Александр Сергеевич...— говорит он тихо.

— А? Что, можно ехать?—не отрывается от бумаги Пушкин.

— Я не узнавал... я только вышел, гляжу, к нам возок подъезжает... двое каких-то в тулупах...

— Вот тебе на! Кто же такие? — бросает перо Пушкин.

— За метелицей не разберешь.... Должно быть, по холерной части: кто же теперь в гости ездит по такой погоде, какой кобель!— ворчит Никита.

,— Ну, видно, что опять меня в холерные надзиратели вербуют! Теперь пиши пропало! — уныло говорит Пушкин...

— А не сказать ли им, что я уехал? А?

— Вот извольте поглядеть в окно: они уж въехали!

Слышен с надворья колокольчик тройки. Пушкин внимательно смотрит в окно.

— Да ведь это кажется Крылов!— говорит он радостно. — Крылов и есть! Хотя и не баснописец, но человек все-таки невредный... А другой... да ведь другой это неразлучный с ним Ползиков! Ползиков, его письмоводитель... Ну, так и есть! Окружной комиссар по холере Крылов! Это ничего! Глуп, правда, но... не кусается! Иди, встречай!

Пушкин поспешно складывает разбросанные по столу бумаги и книги. В прихожей слышен густой кашель и сморканье, потаптыванье ног и голоса гостей. Наконец входят разоблачившиеся от тулупов, но все-таки в теплом, гости: в короткой на лисьем меху бояроке Крылов и в полушубчике, крытом зеленым сукном, Ползиков. Оба в валенках на кожаных подошвах.

— А-а, любезнейшие! Метелью вас навеяло? — оживленно здоровается с Крыловым и Ползиковым Пушкин.

— Метет! Несосветимо метет!.. Метет и крутит!— вытирает мокрое лицо платком Крылов.

— Чуть-чуть мы с дороги не сбились, Александр Сергеевич! — сообщает Ползиков.

— Да уж и сбились было! Смотрим, ваша крыша... Я и говорю ему — кивает на Ползикова Крылов: «Э-э, так и быть! Хотя и незачем нам к поэту, давай уж заедем! Раз такое указание свыше; как крыша, с трубами, так и быть! Авось не выгонит!»

— Как знать? — политичничает Ползиков.— Поэты вообще — народ горячий, а уж Александр Сергеевич...— И он покачивает опасливо головой.

— Я ведь и сам бываю сердит, когда мне писать мешают!

— Выгнать я, пожалуй, не выгоню, а вот задушить,— задушу!— делает свирепое лицо Пушкин.

— Ой! Чуяло мое серденько! — шутливо отступает Ползиков, прячась за Крылова.

— Стихами задушу, стихами!— кричит Пушкин.

— Хо-хо-хо!— густо и промороженно смеется Крылов.

— Ну, это, Александр Сергеич, мы уж как-нибудь вы-

терпим!— лисичкой увивается Ползиков. А Крылов хлопает себя по толстой шее сзади.

— Такого, как я, не удушите-с, не-ет!.. Вот Ползикова, пожалуй: он меня пожиже...

— Садитесь же, садитесь!..— приглашает Пушкин.— Сейчас печку прикажу затопить.... Самовар нам поставят...

— Никита!—кричит в двери Пушкин.—Самовар! И печку чтоб затопили!..

— А мы к вам, Александр Сергеич, не то, чтобы нас только метелью занесло, а с новостью большой...— интригующе ухмыляется Ползиков.— И для вас, кажется, небезразличной!— поддерживает, крякая, Крылов.

— Ах, господа, самая приятная для меня новость была бы, чтобы я дальше никаких новостей в Болдине не получал!— живо отзывается Пушкин, и Крылов вопросительно смотрит на Ползикова.

— Гм.... Что-то я с холода не разберу, что наш хозяин сказал!..

— Ну, одним словом, не желает Александр Сергеевич от нас с вами никаких новостей получать! — разъясняет ему письмоводитель.

— А-а, та-та-та-та! Не желает? Хорошо! Хорошо-с! Тогда не скажу!— и Крылов зажимает толстые губы, сопя лукаво.

— Говорите! Говорите же, жду!—тормошит его Пушкин.

— Хо-хо-хо! — смеется, Крылов по-стариковски, с кашлем.— Ага! Забрало за живое!

— Хи-хи-хи! — подхахатывает Ползиков тенором.—А теперь возьмем да не скажем!

— Не скажете? А я вам чаю не дам!.. Никита! Никита! Не надо самовара! — кричит в дверь Пушкин.

— Гм, а? Вот оборот какой!.. Пожалуй, ведь и в самом деле чаю не даст! — обращается к Ползикову Крылов.

— Это неприятно...— соглашается тот.

— И печки топить не позволю!.. Никита! И печку чтоб не топили! Не надо!..— кричит Пушкин.

— Хо-хо-хо!

— Хи-хи-хи!.. Надо, пожалуй, сказать!

— Александр Сергеич! Перемените гнев на милость! Новость моя вот какая...— начинает отхохотавшись Крылов.

— Ага! То-то!— торжествует Пушкин.

— Как окружной комиссар, сообщаю вам: холера на убыль пошла!

— На-ко-нец-то!..— вскакивает Пушкин.— Вот это новость!.. Где? В Москвё?

— Говорят, и в Москве тоже... Отхлынула, одним словом!.. Зимы не любит!..— говорит Ползиков с таким видом, будто это он-то и прогнал холеру.

— Что? Хороша ведь новость? — хрипит Крылов.

— Бес-по-добная! Прекраснейшая из всех!.. А карантины? Карантины как?

— В ту сторону, к Владимирской губернии их уж будто бы на этих днях снимают.

— Да неу-же-ли? — Пушкин подпрыгивает и вертится на месте.— Вот это новость, так новость!.. Стало быть, я могу ехать в Москву?

— Ежели поедёте на Пла̀таву, самое большее—законные две недели просидите,— сообщает Крылов.

— Четырнадцатидневный термин? И буду в Москве?

— И будете в Москве!

— Значит, впускают, впускают уже в Москву! Ура! Никита! Самовар! Рому! И печку чтобы топили изо всех сил! И завтра мы в Москву с тобою едем, злодей, соперник графа Хвостова! Ур-аа-а!.. А стихами я вас, гости милые, на радостях все-таки задушу! Задушу!.. Я вам четыре драмы в стихах прочитаю! Я вам две песни «Онегина» прочитаю! Я вам поэму октавами прочитаю! Я вам штук 30 новых стихотворений прочитаю! Держитесь!

И Крылов, оторопело глядя на Ползикова, скорбно говорит ему:

— Про-па-дем мы теперь с тобой, как шведы!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В доме кн. Вяземского, в Чернышевском переулке, в гостиной Вяземский, Пушкин и Нащокин. Конец января 1831 г.

— Я думаю, что восстание в Польше, это — следствие удачной июльской революции в Париже...— говорит гостям Вяземский, а Пушкин отзывается живо:

— А ты заметил, и там была жажда свободы печати и здесь то же самое! Началось из-за цензуры!

— Поляки — народ подражательный..— вставляет Нащокин.

— Однако совсем не одно и то же: переворот в Париже, вроде нашего Петергофского, какие-то оперные трехдневные баррикадные бои, смена одной линии династии другою линией той же династии, или восстание целого народа против власти другого народа! Дьявольская разница! — энергично замечает Пушкин.

— Наш народ, по правде говоря, едва ли даже и знает, что наш царь владеет поляками! — смеется Вяземский.

— Владеет ли! Вопрос! Хотел владеть,— да! А во всей каше, какая заварилась в Варшаве, виноват, конечно, этот двуличный Александр, по прозвищу Благословенный! — зло говорит Пушкин.

— Мы уж давно знаем, что ты его не любишь!

Но эти слова Нащокина не кажутся настоящими Вяземскому:

— Слабо сказано! «Питаешь к нему жгучую ненависть!» — вот как надо! За то Николай его покорил... И особенно тем, что в холерную Москву приехал!

— Что же, это, конечно, подвиг! О Наполеоне сочинили, что он посетил госпиталь с чумными солдатами и жал им руки.. А Николай сделал подобное на наших глазах... Об этом уж не будут говорить со временем: не было! Мы все свидетели — было! Николай хочет владеть поляками, а не миндальничать с ними, это — его право. С кем ты мин-

дальничаешь, тот неминуемо сядет тебе на шею — закон!.. Есть арабская пословица: «Не становись на равную ногу с рабом, иначе он покажет тебе зад».

— Это — сервилизм, Пушкин! — морщится недовольно Вяземский...— Поляки решили бороться за свою независимость, какое же это показывание зада?

— Но они его покажут, когда будут бежать от наших войск! Дибич их раздавит, как тараканов!— энергично двигает ногою по полу Пушкин.

— Пока что пятятся наши войска, а не поляки,— напоминает ему Вяземский.— Смею думать, что когда я служил в Варшаве у Новосильцева, я узнал, что такое поляки... Поверь, что они достойны лучшей участи... А кто был там совершенно не на месте, это полоумный Константин, копия своего папаши...

— Говорили в Английском клубе, что его хотели убить в первый же день восстания...— вставляет Нащокин.— Он удачно ушел из своего Бельведера....

— Одни хотели убить, другие предлагали польскую корону...— улыбается Вяземский. Это замечательный принц. над ним так и носятся всю его жизнь короны: то византийская, то дакийская, то албанская, то русская, то шведская, то, наконец, польская!.. Но голова его так ничтожна, что короны никак не в состоянии ее разыскать, чтобы на ней усесться!

— Хе-хе, это неплохо сказано!— смеется Нащокин.— К польской короне он, конечно, был больше всего подготовлен: почти 16 лет провел в Польше и женат на польке...

— На единственной польке, которая не хочет быть королевой!..— подчеркивает Вяземский.— А все-таки живем мы в очень жестокое время: с востока холера, с запада — поляки... И слышал я еще в Петербурге, но это, пожалуйста, между нами,— будто начинают волноваться и крестьяне. Они пока еще не восстают, но уже жадно питаются всякими глупыми слухами...

— А какими же именно? — спокойно любопытствует Нащокин.

— Так как я теперь тоже помещик, то не мешает знать это и мне!— становится очень внимательным Пушкин.

— Слухами обычными: об отмене крепостной зависимости. Еще летом были разосланы секретные приказы губернаторам о том, что замечается что-то, и чтобы были на-чеку. А теперь,— должно быть холера всех бунтует,— начинают уж не шушукаться, по углам, а говорить открыто.

— Что же именно говорить?

— Известно, что именно... Приказ, дескать, государя был, чтобы все крестьяне стали государственные, а не помещичьи, а помещики-чиновники этот приказ скрывают. Согласись, что отсюда уж недалеко до новой пугачевщины! Придет к тебе толпа мужиков с топорами: «Кажи, барин, бумагу!» А так как казать тебе нечего, то тут тебе и будет кончение.

— Неужели мы перед второй пугачевщиной? — пугается Нащокин.

— А знаешь ли, пугачевщина — это любопытный сюжет! — щелкает пальцами Пушкин.— Я вот пожил в Болдине, ко многому присмотрелся. Может, Петр Андреич, я и займусь когда-нибудь пугачевщиной, как ты недавно занимался Фонвизиным... Польское восстание — одно, пугачевское — другое. В Польше подымается нация, которая помнит свою государственность, а там что такое было? Хотели основать мужицкое царство, и чтоб Емелька был мужицкий царь — Емелька 1-й? Как шла на нас однажды Польша и сделала Гришку Отрепьева царем на Москве, это я изобразил, худо ли, хорошо ли, про то Булгарин знает, надо бы и пугачевской смутой заняться... что ты на это скажешь?..

— Ох, что-то подозрительна мне, русскому чиновнику, страсть твоя не к порядку, а именно к смутам! — улыбается Вяземский.

— Все еще толкуют о Польше? Как вам не надоест! — пожимает плечами Вяземский, входя.

— Хочу, Вера Федоровна, проситься в армию Диби-

ча! — обращается к ней Пушкин.— Ведь был же я в армии Паскевича, авось и к Дибичу попаду!

— Ха-ха-ха! Будете в своей шляпе и плаще мчаться с пикой, как бедуин! — вся колышется от смеха весьма смешливая Вяземская.

— Да, смейтесь, смейтесь! А я уж решил зачислиться юнкером! И пусть убьет меня там какой-то Вейскопф... Ведь от белоголового должен я принять смерть: так мне предсказано!

— Будет уж вам с предсказаниями! Не маленький!

— Войныч, а? — обращается Пушкин к Нащокину.— Княгине все только шутки! Не хочет дать веры ни предсказаниям, ни приметам!

— Не-ет! Приметы, Вера Федоровна, меня еще никогда не обманывали! — вполне серьезно поддерживает друга Нащокин.

— И меня тоже! — уверяет Пушкин, на что замечает Вяземский:

— Пушкин только бога не признает, а в зайцев он верит!

— Во всяком случае заяц меня от виселицы спас! Не поверь я зайцу в декабре 25 года, быть бы бычку на веревочке, и лежали бы мои косточки рядом с костями Рылеева,— в который уже раз вполне убежденно и горячо даже говорит Пушкин, чем заставляет рассмеяться Вяземскую.

— Ха-ха-ха, какой болтун!.. А вот что скажите мне, если знаете: где теперь Мицкевич?

— Не знаю точно, но думаю, что в самой каше. Место поэта, когда подымается восстание, быть в самой гуще,— не менее убежденно, чем о зайце, говорит Пушкин.

— И представь, что ты мчишься со своею пикой в атаку на польский отряд, а против тебя Мицкевич! Неужели ты пронзил бы пикой Мицкевича? — с большим любопытством спрашивает Вяземский.

— Мицкевича?.. Какой вопрос коварный! Если он бу-

дет так же, как я, в шляпе, то я его разгляжу издали... и я крикну ему: «Пане Мицкевич! То я — Пушкин»... И мы разведем свои пики в стороны и обнимемся.

— Это будет считаться изменой, что ты! — ужасается притворно Нащокин.

— Как так изменой? Пушкин — один в России, Мицкевич — один в Литве и Польше... Оба они — большие поэты... И врагами они ни в коем случае быть не могут! Об этом я не хочу даже и думать!

— Да ведь вы и не встретитесь с Мицкевичем, конечно, куда уж вам уехать от своей невесты! — ехидничает Вяземская.

— Кончено с невестой, княгинюшка! — горячо заявляет Пушкин. Кончено совершенно! Я уж не жених больше,— и к лучшему! — И Пушкин поет на былинный мотив:

Не женися ты, добрый молодец,
А на те деньги купи коня!

— Да что вы, что вы, Александр Сергеич! — удивляется Вяземская.

— Я уж говорил ему, что так порядочные люди не поступают! — возмущенно замечает Нащокин.

— Да, вот таких бы окаянных баб, как мамаша моей Натали, твоим бы порядочным людям! А я бы посмотрел издали и послушал! И уж хо-хо-тал бы я вчуже над этими дураками!..

— Значит, вы разлюбили свою Натали? — продолжает изумляться Вяземская.

— Нисколько!.. Но я смертельно возненавидел ее мамашу!.. И если бы женщин позволено было бить, о, с каким бы наслаждением я изувечил эту гнуснейшую бабу! Натали от нее страдала и страдает так же, как и я... Я в этом уверен... И Натали мне хотелось бы вырвать...

— За чем же дело стало?

— По-моему, за деньгами! — догадывается Вяземский.

— И не такими большими! Поверьте, что не такими большими! — поддерживает его Нащокин. А Пушкин поет у окна:

Не женися ты, добрый молодец,
А на те деньги купи коня!

— Ведь если бы я не проигрался недавно, я дал бы ему каких-нибудь десять тысяч и сказал бы: «Тащи к своей теще и говори: На тебе, проклятая, шей приданое и назначай день свадьбы!» — очень энергично говорит Нащокин.

На это живо отзывается Пушкин:

— Ты думаешь, что все дело в каких-то там десяти тысячах?.. У меня и сорок тысяч может быть, когда я заложу имение...

— А вот заложи, попробуй, да понеси ей всего только десять тысяч, больше не давай,— советует Нащокин.— И скажи непременно: «Даю взаймы!» Непременно скажи это, потому что не обязан ты, жених, шить приданое невесте на собственный счет... И вот ты увидишь тогда, что из этого выйдет!

— Совет не плох, Пушкин! Попробуй в самом деле! — говорит Вяземский.

— Попробовать я могу, попытка не пытка... но она швырнет мне эти десять тысяч в лицо, тем дело и кончится!

— Не швырнет, не-ет! Я вижу, что она не из таковских, чтобы тысячами швыряться! — уверяет Войныч, а Пушкин поет попрежнему:

— Не женися ты, добрый молодец,
А на те деньги коня купи!

— Что же вы, Александр Сергеич? — спрашивает Вяземская.

— Попробую, что ж... А если швырнет она мне деньги..

— Тогда ты свободен! Тогда ты деньги эти собери, низехонько ей поклонись да приходи ко мне,— хлопает его по плечу Нащокин.— И пойдем мы с тобой в клуб... И выиграем мы на них триста тысяч... Потому что кому не везет в любви, везет в карты! Это-то уж из примет примета!

— Ха-ха-ха! А заяц, заяц? — вспоминает Вяземская, но Нащокин отвечает ей вполне осведомленно:

— Эта, Вера Федоровна, эта примета вернее даже и зайца!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Гостиная в доме Гончаровых. Наталья Ивановна и Катерина Алексеевна. 5 февраля 1831 г.

— Кончено! Все запуталось! — горестно говорит Наталья Ивановна...— Я уж теперь совершенно ничего не понимаю!.. Давыдов оказался в конце концов совершенно не жених! Конечно, Натали ему нравится, но кому же она не нравится?.. Однако проклятые обстоятельства наши...— и разводит она беспомощно руками.

— Остается опять, стало быть, только Пушкин! — ласково напоминает Катерина Алексеевна.

— Пушкин!.. Этот Пушкин нам, может быть, только мешает! Какая он партия для Натали? Однако все думают, что уж, конечно, идет за Пушкина! Значит, не о чем больше и говорить!.. И не говорят. Вот поэтому-то именно и не говорят, что стоит у всех на дороге Пушкин! — зло разъясняет поэта Гончарова.

— А вы ведь будто бы с ним уже помирились, Наталья Ивановна?

— Ну, а что же мне, гнать его, что ли?.. У него, конечно, есть свое хорошее качество: примерное постоянство.

Ведь он знает уже теперь отлично, что Натали круглая бесприданница, однако же он не уходит ведь, как этот Давыдов... который только супирант оказался, а совсем не серьезный жених!.. Нет, я недовольна Бильбасовой: это она, не поглядев в святцы, в колокол бухнула!.. Как-то так все выходит, что Пушкину и хотела бы, очень бы хотела я решительно отказать и не могу!.. А главное деньги, деньги!.. Нам теперь даже и жить уж нечем становится, вы знаете?

— Ах, боже ж мой! — сокрушается Катерина Алексеевна.

— Да, да, нечем, нечем!.. Я думала что-нибудь получить с Яропольцев, однако этот противный Блюмберг...

— Наталья Ивановна! Вам надо бы его переменить! Я вполне, вполне уверена, что он ворует!

— Э-э, переменить! Они все воры! Этот хотя сует мне под нос свои книги конторские, а другие просто говорили: доходов в этом году никаких не будет! Выгоню Блюмберга, другой еще хуже будет. И где его искать? Все ищут честного управляющего, однако это — какая-то такая невиданная в мире штука, что даже и философский камень можно скорее найти!.. Я бы с отчаяния готова была и за Пушкина выдать Натали, да ведь мне не на что даже и подвенечного платья ей справить!.. И откуда может взять помещица денег, если хлеб восемь рублей ассигнациями четверть?.. Какой был ужас: холера! Но вот все мы остались живы, хоть и из Москвы никуда не бежали, а какая радость в том, что живы? Вот до чего он нас довел, этот старик! — намекает на Афанасия Николаевича Наталья Ивановна.

— А правда ли, говорил кто-то мне, будто сожителку свою одну замуж выдал и десять тысяч за нее дал? — очень рада вставить кстати приживалка.

— Ну, как же не правда, как же не правда? Для какой-то презренной твари он десять тысяч нашел, а для На-

тали, для своей любимицы... Я его растерзала бы на части! На части!

И она делает судорожные движения пальцами, терзая воздух.

— А дал бы эти десять тысяч Наташечке, совсем бы другое дело было!..

— Де-сять ты-сяч! О-о! Это, конечно, было бы нашим спасением! Но не только десяти тысяч, и десяти рублей сейчас в доме нет! Что же, голую мне выдавать Натали? Срамиться на всю Москву? — приходит в отчаянье Гончарова.

— А будто бы Пушкин много стихов написал в своей деревне... не знаю уж, как он это мог...

— Ах, ну что там какие-то стихи! — презрительно морщится Гончарова.— Когда даже бумага фабрики Гончаровых не дает денег, он хочет убедить, что стихи его те же тысячи!.. Он и прежде мне говорил: «Борис Годунов! Борис Годунов! Вот выйдет Борис Годунов, и будут деньги!» — Однако вышел же, и сам он принес мне книжку, а где же деньги? «Годунов» вышел, а денег все-таки нет! Вот так и будет с ним дальше! Книжки свои он будет печатать и будет развозить их по знакомым... Так, ради славы одной... Однако же славой сыт не будешь!

— Кажется к нам кто-то подъехал, Наталья Ивановна! — подходит к окну Катерина Алексеевна.

— Ах, боже мой! Должно быть, доктор к Катрин, а мне ему и заплатить нечем! Совершенно нечем! — ужасается Гончарова.

— Пушкин, кажется, а не доктор!

— Пушкин? Опять все Пушкин! Я даже не в состоянии представить, как это он не поймет, что незачем ему сюда, незачем! Другой бы на его месте давно бы понял!.. Не знаю, что в нем нашла и Натали, а ведь нашла что-то, нашла! — искренно удивляется Наталья Ивановна.

— Привычка, Наталья Ивановна, хи-хи-хи! Вот уж в передней его голос!

Наталья Ивановна делает недовольную мину.

— Ну, идите пока...

Катерина Алексеевна уходит. Лакей отворяет входную дверь. Входит Пушкин и от дверей весело говорит:

— А-а! Наталья Ивановна дома! Вас-то мне и хотелось застать! Здравствуйте!

— Здравствуйте... Что скажете? Нового, только нового! — тяжело глядит на него Гончарова.

— Я пришел узнать об единственном, что меня занимает... когда все-таки думаете вы назначить нашу с Натали свадьбу?

— Послушайте, что же это такое? Вы опять явились меня истязать? Ведь я сказала же вам, что у меня нет денег на приданое Натали! Нет, нет и нет! Поняли? И в близком будущем их не будет, не будет, не будет! — кричит Гончарова.

— Но ведь я говорил уже вам и сейчас скажу: я могу обойтись и без приданого!

— Вы можете! А Натали? Нашел чем меня утешить! Вы знаете ли, что у Натали даже достаточного количества белья нет? По-вашему это тряпки, однако без тряпок нельзя!

— Хорошо-хорошо! Без тряпок нельзя! Однако сколько же могут стоить тряпки эти? Ведь не миллионы? — осведомляется издалека Пушкин.

— Где же нам говорить об миллионах! Хотя бы тысяч десять было на эти тряпки! Но их нет, нет, понимаете? Нет, и все!.. Это у купчихи могут быть свободные деньги в кассе... как это они называют?.. выручка! Выручка, да, а не у помещицы!.. Вот вы теперь тоже помещик, а много у вас денег?

Пушкин медленно вынимает бумажник.

— Так как я теперь тоже помещик, то... кое-какие деньги у меня все-таки имеются!

Наталья Ивановна вся превращается в зрение и слух, но еще недоверчива.

— Ска-жи-те! День-ги!..

Пушкин медленно вынимает из бумажника деньги.

— Вы сказали, Наталья Ивановна, что на приданое для Натали,— так сказать, малое приданое, чисто тряпочное,— понадобится десять тысяч? Хорошо? (Считая и откладывая деньги). Одна тысяча... Две тысячи... Три... Четыре... П-ять... Итого пять...— Он игриво взглядывает на Наталью Ивановну и продолжает отсчитывать: — Шестая тысяча!.. Седьмая... Восьмая... Девятая... Наконец, десятая!... Итого, десять! Это я могу дать вам, Наталья Ивановна, конечно, заимообразно.

Наталья Ивановна, жадно следившая за счетом, жадно хватает деньги.

— О-о, разумеется, разумеется, Александр, заимообразно!.. Спасибо!.. Вот теперь я, конечно, могу сшить Натали подвенечное платье и белье... Белье нужно постельное, белье столовое, мало ли надо белья? Этого вы, мужчина, не знаете, но зато мы женщины, знаем это отлично! Спасибо, Александр!

Она с чувством протягивает Пушкину руку: Пушкин целует руку, оставляя на столе раскрытый бумажник, а Наталья Ивановна упорно глядит на этот бумажник через его наклоненную голову и спрашивает: — Но откуда же вы взяли деньги, Александр? Вы заложили имение?

— Да-а, разумеется, заложил имение.

— Счастливец! Вы еще могли заложить имение и под первую закладную!.. Но неужели вам дали всего только десять тысяч?

— Ну, конечно, мне дали несколько больше, но нужно же мне отделать квартиру, которую я снимаю!

— Уже отделывать хотите квартиру? Подождите, Александр!

— Как так? Ждать? Еще? Почему?

— Не так много, не пугайтесь, но все-таки... Вы думаете, что так вот в три-два дня можно сшить все приданое? Какой вы скорый!.. По крайней мере надо на это три недели.

— Ка-ак три недели?..— вскрикивает Пушкин в ужасе...— Еще три недели! Но ведь через три недели и венчать не будут: начнется великий пост!..

— Что же тут страшного? Больше ждали! Впрочем, если вы хотите, чтобы приданое пошили раньше, дороже надо будет заплатить портнихам... М-м... как же тут быть?.. Мне и самой хотелось бы поспешить с этим... Мне кажется, что у вас в бумажнике есть еще какие-то совершенно лишние для вас деньги?

— Тут еще всего только тысяча рублей.

— Ну, вот, ну, вот! Тысяча! Вы добавьте еще и эту тысячу, и она зна-чи-тельно может придвинуть день свадьбы,— с большой живостью говорит Наталья Ивановна.

— Хорошо... что ж...— И, давая еще тысячу, он говорит ей:

— Больше в бумажнике моем ничего нет, смотрите!

— Верно, Александр! Спасибо!..— И она прячет деньги очень проворно.

— Значит, всего я вам дал одиннадцать тысяч рублей,— напоминает Пушкин.

— О-о, я не забуду, дорогой Александр! — улыбается она.— Позвать ли вам Натали?

— Зачем же вы спрашиваете об этом?

— Ну, мало ли! Может быть у вас сегодня никакого нет желания ее видеть!.. Зову, зову! На-та-ли!.. На-та-ли!

Натали, входя, глядит на улыбающуюся мать и на Пушкина, у которого счастливый вид, с очень большим недоумением.

— Здравствуйте, Александр Сергеич! — говорит она, выжидая объяснения такой странности, но Пушкин сам бросается к ней:

— Натали! Радость моя!.. Через десять дней всего, а может быть и раньше,—это зависит от портних,— будет наша свадьба!..

Натали глядит вопросительно на мать.

— Мама?

— Да-да! С завтрашнего дня я начинаю шить тебе приданое! — успокаивает ее мать.

— Вы достали денег? — догадывается Натали, улыбаясь Пушкину.

— Я так рад, моя Натали! Я так безумно рад, моя прелесть! — целует ей руки Пушкин вместо ответа.

— Я тоже... Я тоже рада! — тихо улыбается Натали.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

17 февраля 1831 года. Квартира Пушкина на Арбате в доме Хитровой. Большая столовая, заново оклеенная дорогими обоями. За обеденным столом сам Пушкин, справляющий свой мальчишник, кн. П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, Н. М. Языков, Д. В. Давыдов в генеральском мундире, Лев Пушкин в мундире Нижегородского драгунского полка, П. В. Нащокин, Ив. В. Киреевский, Ал-й Андр. Елагин и Ал-й Ник. Верстовский. На столе много вин, водок и закусок. Все уже значительно подвыпили. Денис Давыдов кричит Вяземскому:

— Что вы говорите: осторожность не мешает!.. Преступление делает Дибич, если хотите знать! Как можно медлить со штурмом Варшавы? Смерти невозвратной промедление это подобно,— вот настоящие слова!

— А кто-то говорил, что Багратион был хладнокровен! — усмехаясь, вспоминает Вяземский.

— Я говорил! Что из того? Да, был хладнокровен, когда незачем было горячиться! Когда я был его адъютантом, вбегаю раз к нему и кричу вне всякого этикета: «Неприятель на носу!» А он меня спрашивает: «На чьем именно носу?.. Если на твоем (показывает пальцем на свой коротенький нос), то он конечно близко, а если на моем, то я еще и пообедать успею»!..— А у него нос был как руль!.. Это об его носе анекдотический есть рассказ... На балу где-то стоит он в дверях, тогда еще был он полковник... Две дамы остановились перед дверью, и одна

другой по-французски: «У этого полковника такой нос, что мы не проберемся в дверь!» — Уверены были, что кавказец дикий по-французски не понимает!.. А он захватил свой нос рукою, отвернул его в сторону и прогундосил: «Passez, mesdames»!

— Ха-ха-ха!.. Попался, Денис Васильич... Я это про генерала Тер-Гукасова слышал! — хохочет Языков.

— Ба-гра-тион, вам говорят, а не Тер-Гукасов! — горячится Давыдов.

— Но все-таки, Денис Васильич, на войну с Польшей вы едете? — спрашивает скромный Елагин.

— Непременно! Как только получу назначение, помчусь!.. Вот со Львом Сергеичем... Думал было и этого грешника (кивает на Пушкина) захватить с собою, да жениться захотел!.. А уж от молодой жены-красавицы его теперь багром не оттянуть! Эх, други! Выпьем за погибшего!.. За обольщенного вражьей силой!

— А он у нас что-то невесел сидит! — замечает Нащокин.

— И словечушка не промолвит...— поддерживает Верстовский.

— Думу думает, думу горькую...— продолжает в тон им Киреевский.

— Ха-ха-ха!.. Пушкин!.. Твои гости про тебя поминальную песню складывают, не то былину! — хохочет Вяземский и чокается с Пушкиным, за ним и все другие.

— Баратынский мне говорил, что в женихах весел только дурак... Думаю, что это сущая правда... Тоска мне и по Дельвиге... Уж Дельвиг ли не был моим другом с молодых ногтей? А вот нет его за нашим столом... По-стреливать начала смерть в наши ряды, господа! — грустно говорит Пушкин.

— Да, Дельвиг, Дельвиг!.. Не понимаю я все-таки, отчего же он умер,— оглядывает Пушкина и Языкова Давыдов.

— От смерти,— говорит Языков.

— От Бенкендорфа! — говорит Баратынский.

— Бенкендорфом мы когда-то в Тригорском звали жженку за полицейское ее влияние на желудок, Денис Васильич...— вспоминает Языков.

— Я говорю в самом прямом смысле... от Бенкендорфа! — настаивает Баратынский, а Пушкин объясняет Давыдову:

— Я не знаю, что сделал бы ты, если бы на тебя стал кричать Бенкендорф: «В Сибирь тебя загоню! И Пушкина тоже! И Вяземского!.. Всю вашу троицу! Но тебя в первую голову!»...— Между тем Дельвиг с ним, прежде всего на брудершафт не пил!

— Что бы я сделал! Ого! О-го!.. Я бы его рубанул по-гусарски! — делает энергичнейший жест рукою Давыдов.

— Дельвиг предпочел заболеть... И заболеть смертельно.

— Пушкин! Не забывай, что Бенкендорф все-таки нашел нужным извиниться перед Дельвигом за свой крик... а перед нами пока еще нет,— замечает Вяземский.

— Я слышал, в своей деревне сидя, что вышло дело из-за каких-то стишков Де-ла-Виня, в «Литературной газете» помещенных,— хочет уяснить дело Давыдов.

— Невиннейшие стихи... На памятник погибшим на баррикадах... в июльские дни в Париже...— начинает объяснять Давыдову Баратынский.

— Совсем конфетный билетец! — перебивает Пушкин.

— Я могу их прочитать на память. Вот эти четыре строчки:

France, dis- moi leurs noms! Je n'en vois point paraître
Sur ce funèbre monument:
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connaître! [1]

---

[1] Франция, скажи мне их имена! Я не вижу их на этом печальном памятнике. Они победили так быстро, что ты стала свободной раньше, чем их узнала!

— Что же тут нецензурного? — недоумевает Давыдов.

— Ничего!.. И стишков этих никто бы не заметил... Да сделал донос все тот же литературный шпион Булгарин... И утопил Дельвига... Дескать, вспоминая июльские дни, мечтает о них и для России! Вот как обернул дело Видок-Фиглярин! — негодует Баратынский.

— А благонамереннейший Дельвиг не сумел оправдаться!... Когда мы с Вяземским уезжали из Петербурга в августе, Дельвиг нас провожал пешком... Встал в восемь утра для этого: когда с ним раньше это бывало? Но он как будто знал, что навсегда с нами расстается, а мы не догадались! — грустит Пушкин.

— Очень жаль барона!..— Да кажется и в семейной жизни у него было в последнее время неладно?.. Мне кто-то говорил, да некогда было слушать...— любопытствует Давыдов, а Вяземский, отвечая ему, кивает на Пушкина:

— Может быть, вот он знает, от кого из приятелей барона осталась у м-м Дельвиг дочка... Но все-таки не это его убило: цензура! Кстати, цензура теперь стала совсем помешанной. Я говорил здесь с цензорами, они как будто мухоморов наелись.

На что Языков, сильно охмелевший, отзывается бурно:

— Как же можно писать, когда только объявления о продаже борзых щенят можешь ты печатать без подписи, а все анонимы и псевдонимы запрещены?.. И в каждой строчке видна должна быть цензорам крамола!

А Вяземский добавляет:

— И в то же время у нас не только хотят, чтобы литература процветала, требуют этого! Процветай во что бы то ни стало!

— Литература, процветай!.. Но чтобы никто ничего не смел писать ни в стихах, ни в прозе! — кричит Языков.

— Ха-ха-ха! Вот злодей! Сидит рядом с генералом и так либеральничает! — хохочет, толкая его, Давыдов.

— Требовал того же и Наполеон! И на рождение его сына написано тысяча триста од!.. Но кто же теперь во

всей Франции знает из них хоть бы одну? — замечает Пушкин.

— Выпьем за свободу печати! — поднимает рюмку Языков.

— Ого-го! — оглядывается кругом Нащокин, а Верстовский кивает на дверь.

— Посмотреть бы, Булгарина тут за дверями нету?

— Эх, всегда приятно пить за мечту! — тянется со своей рюмкой к Языкову Баратынский.

— Это — самая каверзная мечта! Допустим, что свободу печати ввели! Что дальше? — спрашивает Лев Пушкин.

— Дальше? Ее через месяц отменят! — отвечает Киреевский.

— Ордонансом 26 июля!—дополняет этот ответ Пушкин.

— И в результате должны, значит, быть баррикады? — делает вывод Левушка.

— Не будем принимать этого на свой счет, отнесем на казенный! — острит Вяземский, а Давыдов обращается к Левушке:

— Не беспокойтесь, дружище! Мы с вами поедем бить революционных поляков, а братец ваш попадет под такой изящнейший в мире башмачок, что уж оттуда ни одной завиральной идеи не пикнет!

— Можно писать и не печатая,— говорит Баратынский.— Мне пишут из Казани, что пришла в тамошний университет бумага от министра просвещения. Рекомендует смотреть строжайше, чтобы студенты не читали «Телеграфа»... Даже «Телеграфа» с его дамскими модами! Остается теперь и совсем не писать, а зарыться в деревне, обложась книгами...

Глядя на Баратынского, декламирует Киреевский:

Дарует небо человеку
Замену слез и тяжких бед:
Блажен, кто мог библиотеку
Скопить себе на старость лет!

— Ишь ты! Пародия на мой «Бахчисарайский фонтан» и не обидная! — улыбается Пушкин.— А что же это — поэтов у меня собралось сегодня как-будто и много,— где же печальные стихи на такое грустное событие, как моя завтрашняя свадьба? Ведь на девишниках невесты заливаются непритворными слезами, я их понимаю теперь... Иногда самая внешность человека толкает его на безумства: должно быть, у меня такая именно внешность... Кто знает, может быть только в силу своего длинного носа и делал подвиги Багратион!.. Ведь имел же из-за своего тоже длинного носа поэта Сирано де-Бержерак свыше тысячи дуэлей!.. Дон-Гуан дрался с кем попало из-за женщин, Сирано — из-за насмешек над своим носом!.. А человек, который женится, остервенело бросается с пистолетом на самого себя... И лучшую половину в себе расстреливает...

— Не задумал ли ты сбежать от свадьбы куда-нибудь в Болдино? — подозрительно смотрит на него Вяземский.

— Не сбегу, не сбегу, хотя бы на зло своей завтрашней теще!.. Но, чорт возьми, раз у меня мальчишник, то должен же я себя оплакать. И если столько поэтов на моей гризне, и никто не читает похоронных мне стихов, то, пожалуй, прочитаю я сам!.. Извольте слушать!

Поднимается и читает: Элегия.

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Аплодисменты и крики «браво!» со всех сторон.

— Божественно! Гениально!.. Дружище, да ведь ты самого себя превзошел! Только почему же так мрачно! — спрашивает Давыдов.

— Хорошо! Очень! И глубоко... Только о какой же ты еще любви мечтаешь, когда будет у тебя красавица из красавиц! — спрашивает Баратынский.

— Будет красавица... а любовь? Вопрос!..— отвечает Пушкин.— Впрочем, это я не теперь написал, а в Болдине, еще в начале сентября, когда очень тосковал по Натали, а свадьбу считал расстроенной... Войныч! А ведь мне пришлось к одиннадцати тысячам прибавить еще одну моей теще!..

— Пиши пропало! — машет рукою Нащокин.

— Пишу пропало,— кивает головой Пушкин.

— А знаешь, эту твою элегию можно бы положить на музыку! — говорит ему Верстовский.— У меня уж начинает и мотив вертеться; ты мне дай-ка слова!

— На музыку, на музыку, да! Непременно на музыку! — кричит Давыдов.

— Мне кажется, все-таки есть тут в стихах какой-то провал, яма! Стихи превосходные, а как-будто вырвана из середины одна строфа,— говорит Языков.

— Признаться, мне тоже показалось, что между «трудом и горем» и «не хочу умирать» что-то недоговорено... Должно быть, Александр Сергеич, была тут у вас еще одна строфа, а? Ведь каждая ваша строчка — алмаз, драго-

ценность! — почтительно обращается к Пушкину вотчим Киреевского, но Пушкин резко говорит ему:

— Нет, ничего не было! Что есть, то и было!.. Верстовский, я тебе дам стихи, только потом, потом! А сейчас, господа, как мне ни хотелось бы побыть с вами еще, но бежать я должен к невесте! Если одна подготовка к свадьбе отнимает столько времени, то что же будет потом? Об этом я думаю с ужасом!

— Неужели уедешь? — удивляется Вяземский, и несколько голосов с разных сторон:

— Зачем? Что такое? А мы-то как?.. И на кого же ты нас покидаешь?

— Натали — для меня, а свадьба для кого, чорт бы ее побрал! И столько хлопот, что кружится голова! Пейте и ешьте, друзья мои! Поминайте раба божия Александра!.. Впрочем, этот божий раб еще думает к вам вернуться...

А замещать его будет раб божий Лев!.. Лечу! — и Пушкин выбегает.

— Он совершенно не в своей тарелке! — замечает Давыдов.

— Господа! Может быть, я обидел его своим замечанием, тогда я пойду... извинюсь! — беспокоится скромный Елагин.

— Что вы, что вы! — усаживает его снова Левушка.— Я знаю, что ему надо было итти! Успокойтесь, пожалуйста!.. Господа! Вступая в обязанности хозяина сего пиршества, прошу пить, есть и веселиться! У Саши множество дел... Не решен еще до сего времени вопрос, в какой церкви венчаться... До самого митрополита Филарета дело дошло! И обер-полицмейстер Москвы, генерал Шульгин, должен быть оповещен, что завтра свадьба...

— А генералу Шульгину какое до этого дело? — спрашивает Языков уже не совсем послушным языком.

— Чу-дак!.. А наряд полиции к церкви для соблюдения порядка? — отвечает Левушка, такой же курчавый, как брат, но только светловолосый.

— Денис Васильич!.. Выпьем за митрополита Филарета! — предлагает Языков.

— Урра! За Филарета! — чокается с ним Давыдов. А Верстовский тянется со своей рюмкой.

— И за полицмейстера Шульгина тоже!

— Скоро и мне надо будет в клуб на экартэ! — вспоминает как о своей службе или неотложной работе Нащокин.

— Запрещено ведь, кажется, экартэ генерал-губернатором? — говорит Вяземский.

— Что же, что запрещено? Пу-стя-ки!

— Отложил бы ты свой клуб на сегодня! Ты еще и завтра со свадьбы в клуб махнешь! — недоволен своим школьным товарищем Левушка. Но и Киреевский говорит Баратынскому:

— А что, не пойти ли нам домой? — на что Баратынский, берясь за бутылку и разглядывая ее на свет, отвечает:

— А вот допьем и пойдем... А в элегии есть мысль... есть мысль...

— Что не очень часто у Пушкина! — пьяно подхватывает Языков.— Они — самые унылые из всех его стихов и потому именно — в них мысль... Ergo...

Но Давыдов перебивает его:

— Хозяин ушел, за митрополита мы пили, за полицмейстера пили... Эх, соседушка-дружище! Выпьем-ка с вами за то, чтобы завтра на свадьбе нам ка-ак следует нарезаться и под столом валяться, башмачки невесты сегодняшней целовать! (Чокается с Языковым и пьет.) Э-эх, Пушкин, Пушкин! Ка-ак мне его жалко! Про-па-дет, как поляки под Варшавой! Очень влюблен! Это ясно и это скверно!.. Если у де-Бержерака была тысяча дуэлей из-за длинного носа, у него тоже будет тысяча из-за длинной жены!.. Языков! Выпьем за атеизм в любви!.. Вот тост мальчишника!.. Господа! Други!.. Мы с Языковым пьем за атеизм в любви... Кто поддержит, подними бокал!

Нащокин, Киреевский, Верстовский, Лев Пушкин поднимают рюмки.

— А Вяземский?.. Петр Андреич? — вызывающе пьяно кричит Давыдов.

— Позвольте-с! За митрополита я только-что пил, а теперь вдруг за атеизм пить? Я не двуликий Янус! — отшучивается Вяземский.

Елагин задумчиво старается поддеть вилкой кусок семги, пьяно качает головою:—А хорошая семушка, а?.. Откуда это... Пушкин достал свежую семгу?

А Давыдов обращается к Языкову, кивая на Вяземского.

— Ку-да ему... понять... всю красоту такого тоста?!.. Ате-изм в любви!

Но замечая невыпитую рюмку у Языкова кричит:

— Э-э, да вы изменник, сеньор?

— Я-я — атеист! — вопит неистово Языков.— Но-о... только в любви! Да! А в бога... в бога я верю! Эт-то Пушкин — атеист, а не я! Он «Гавриляду» написал!

— За что бог Пушкина и наказал: женил на первой красавице! — шутит Левушка.

Но Языков мотает отрицательно головой.

— Еще не же-нил, не-ет! Он убежал!.. О-он убежит! Гос-о-да!.. Выпьем за то... чтоб Пушкин... убежал! Убежа-ал к чорту на кулички! — добавляет он тоненьким голоском, и все хохочут.

— Безумных ле-ет... угасшее веселье!..— поет баритоном Верстовский.— Левушка! Нельзя ли мне достать листок бумаги и карандаш? Мотив вертится, записать надо!

— Вот моя книжка и в ней чистый листок! — достает Вяземский из бокового кармана записную книжку.— Только чур — листок этот потом не вырывать! Я вам сам его потом перепишу в точности... Ах, Левушка! Кстати, я вспомнил! Ведь у меня за хозяином квартиры сей выспоренная бутылка шампанского! Полиньяк отнюдь не повешен на фонаре, как уверял меня он, а здравствует себе отлично!

— Ничего, будет еще и шампанское! Всякому овощу свое время,— многозначительно говорит Левушка, в то время, как Давыдов осаждает Языкова:

— Слушайте, прочитаю!.. Стихи мои: «Душенька».. Не все, только две строфы в конце...

Я как младенец трепетал
У ног ее в уничиженьи,
Но омрачить богослуженье
Преступной мыслью не дерзал.

Ах, мне ль божественной к стопам
Несть обольщения искусство?
Я весь был гимн, я весь был чувство,
Я весь был чистый фимиам!

Что? Каково? А?

— Бла-ман-же!— пренебрежительно отзывается Языков.

— Ну, конечно, други!.. Пьян, как стелька, Языков!.. Не попробует он сегодня шампанского! — кричит Давыдов.

— Ну-ну-ну!.. Я еще не так пьян... как это кажется... кое-кому в эполетах! — защищается Языков.

— Левушка, надо все-таки знать мне, как посаженному отцу, где же будет, в конце-то концов венчанье? — спрашивает Вяземский.

— Кажется, у Вознесенья... В домовой было бы проще, да митрополит упорствует...— говорит Левушка..

— Ка-ак? Упорствует? А как же мы за него пили? Отчего же не сказать было нам этого раньше? Э-эх, досада!.. Други мои! С митрополитом ошибка вышла! Играй назад! — предлагает Давыдов.

— Давай будем обратно, а? — наваливается на него Языков.

— Только не на мой мундир! — отодвигается автор стихов, посвященных «Душеньке».

— Что это значит «обратно?» — любопытствует Баратынский.

— Э-э, не понимает! Не за митрополита! Не за Филарета!.. И выйдет так: пусть всякий митрополит за себя пьет, а? Давыдов, верно?

— Больше я вам пить ни за кого не советую — ни вперед, ни обратно! Нынче под стол незачем валиться: ножек жены Пушкина там нет! — берет у него рюмку Давыдов.

Языков, грозно пьяно подымаясь, кричит тоненьким голосом:

— Я-я свалюсь под стол? Я-я?

Но тут Никита входит с письмом и обращается ко Льву Пушкину:

— Вот... Александру Сергеичу велено передать... от барыни Гончаровой.

— От Гончаровой? Он должен там быть сам, но... придется все-таки распечатать... не случилось ли чего скверного!

Разрывает Левушка конверт и прочитывает письмо.

— Ну, так и есть! Хочет отложить свадьбу!

— Как так?.. Отложить?.. Это после мальчишника-то?.. Ура! Пушкин спасен! — гремят голоса гостей.

— Ступай пока, Никита, я сейчас дам ответ,— говорит Левушка.— Ну, не прав ли Саша, что ее возненавидел?.. На те двенадцать тысяч, что она взяла у него, говорят, она себе самой платьев нашила, вообще размотала их, вся-чески, а теперь... пишет, что нет денег даже и на карету!

— Да ведь завтра последний день, когда можно венчать! А там жди до Красной горки! — удивляется письму Вяземский.

— Ка-ко-ва, а? — сжимает кулаки Нащокин.

— Надо послать ей денег, ничего не поделаешь! — советует Левушке Киреевский, а Елагин говорит вдумчиво.

— В крайнем случае, если сейчас денег дома у вас нет налицо, то я мог бы... предложить взаймы... Вот тут у

меня,— и он неуверенными движениями охмелевшего вытаскивает свой бумажник.

— Спасибо, пока не надо! Я думаю, Саша там будет же у нее, устроит как-нибудь! — решает Левушка.

А Языков, обнимая Давыдова, пищит ему на ухо:

— Вот это так тещинька у Пушкина растет, а-а?.. Вот это так клад незаговоренный!..

И все неистово хохочут.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

6 часов вечера 18 февраля 1831 г. Комната в доме Гончаровых в Москве на Никитской. Натали убирают к венцу. Только-что кончил свою работу куафер-француз и, получив мзду, уходит, раскланиваясь и унося ящик со своими инструментами.

Наталья Ивановна, уже одетая в новое богатое платье, Екатерина Николаевна и Александра Николаевна тоже в новых модных платьях, посаженная мать Натали — шестидесятилетняя Анна Петровна Малиновская, жена начальника Московского архива, и горничная Даша созерцательно рассматривают сооружение куафера из волос Натали.

— Ах, может быть, этой прическе и полагается такой быть,— француз это лучше меня знает,— но мне бы хотелось, чтобы была проще! — сетует на француза Малиновская.— Во-первых, она очень, очень открывает шею Натали... Правда, шейка у нее прелестная, но все-таки... мне кажется...

— Да ведь все будет прикрыто фатой! Разве из-за фаты будет так видна шея?.. Дашка, подай фату! — командует Наталья Ивановна, хотя по свадебным обычаям тех времен ей бы и не полагалось вмешиваться.

— А веночек, веночек где? — беспокоится Малиновская.

— Здесь же все вот... и фата, и веночек! — подносит

Александра Малиновской веночек, в то время, как Даша — фату.

— Значит, бандо нельзя уж надеть, если веночек? Как жаль! — вздыхает Натали.

— Да! да! Еще и бандо!.. Тебе, конечно, хочется нацепить на себя все, все, все! — журит ее мать.— Ты бы лучше запомнила, что нельзя колец ронять на пол, когда будете с женихом кольцами меняться!.. Знай, это очень, очень плохая примета!

— И на коврик первая становись! Говорят, это нашу сестру тоже избавляет от всех напастей, хе-хе! — по-старушечьи смеется Малиновская и примеряет к голове Натали веночек, потом фату.

— На какой такой коврик? Я ничего не знаю! — капризно говорит Натали.

— Перед налоем коврик... Там тебе покажем, покажем, когда в церкви будем!.. Ну, какая ж досада, митрополит не позволил у князя Сергея Михайловича венчаться!.. Это все потому, что Пушкин! Кому-нибудь другому он бы разумеется позволил! — находит случай попенять на жениха Натали ее мамаша.

— Ну, не все ли равно, мама, у князя Голицына или у Вознесенья? — пожимает голыми плечами Екатерина.

— Ка-ак это все равно?..— негодует Гончарова.— Натали, нагни же голову, что ты стоишь, как преображенец в строю!.. Как это все равно? Это нам настолько больше будет стоить, что... Пусть жених платит! Пусть жених за все платит! У меня нет денег!.. Из-за него отказал Филарет,— пусть же он и платит... Вы представьте, Анна Петровна, когда надо было представить справку о говении, оказалось, что он несколько лет кряду не говел!.. Ка-кой ужас! Ка-кой ужас! Вот что оказалось: Не-сколь-ко лет не говел! — заламывает руки от ужаса Наталья Ивановна.

— Холостые иногда забывают... Теперь уж Натали за ним следить будет, чтобы не пропускал поста... Даша!

Подколи вот здесь, вот это место булавкой! — суетится Малиновская.

— Вот это место, барыня? — нацеливается булавкой Даша.

— Выше! Выше! Вот здесь! — решительно показывает Гончарова, чем очень изумляет Малиновскую:

— На-талья Ивановна! Что вы! Что вы! Совсем напротив! Вот здесь подколоть надо, ниже!

— И по-моему тоже ниже надо,— становится на ее сторону Александра.

— Я тоже думаю, что ниже! — соглашается с ней и Екатерина.

— Все видят, что ниже! Все видят, что ниже! И эта видит, и та видит, одна только я не вижу! — кричит Гончарова.— Ну, делайте, как хотите, мне все равно!.. Ничего у нас не готово! Все у нас скверно!.. Я говорила, что отложить надо свадьбу до красной горки! Нет! Настояли на своем!.. Ну, и делайте, как хотите! — и она круто отворачивается и делается безучастной.

— Все уладится, все уладится, Наталья Ивановна! Не волнуйтесь напрасно, поберегите себя,— успокаивает Малиновская.— В церкви, я думаю, народу будет как на пасху! Полагала я, что вместе с княгиней Верой Федоровной посаженными матерями будем, а с нею вон какой случай страшный!..

— Откуда именно упала Вяземская, я не пойму? — спрашивает Екатерина.

— Со стола... Стала икону в угол вешать или прибивать,— никому не хотела доверить иконы, сама хотела повесить,— а стол под ней опрокинулся!.. Она без памяти часа три лежала, и ребеночка скинула... Теперь в постели — мертвец-мертвецом!.. А вдруг не выходится, не дай господи! А какая была хохотунья... Не знаю уж, сам-то Вяземский будет ли на свадьбе!.. Ну, вот так, Натали-голубчик, кажется все у нас хорошо будет... Погляди-ка на себя в зеркало.

— И сам князь Вяземский будет, и сын его Паша с иконой...— осведомленно говорит Натали и смотрится в зеркало, но добавляет возмущенно:

— Ах, мне так совсем не нравится!

— Ну, вот! Тебе все не нравится!.. Конечно, тебе хотелось бы непременно еще и бандо под веночек надеть! — язвит ее Александра. А Наталья Ивановна торжествует.

— Я говорила, что надо было подколоть выше!.. Ну, да впрочем, кареты еще нет, и я даже не знаю, будете ли вы сегодня венчаться?

— Мама, неужели?.. Почему же нет кареты? — пугается Натали.

— Нет, нет, и все!.. А уж четверть седьмого!.. Четверть седьмого, а кареты еще нет!

— Неу-же-ли уж четверть седьмого? — еще более волнуется Натали.

— Когда Сабуровых свадьба была, то их отлично в домовой церкви Обольянинова обвенчали! А вот когда Пушкина свадьба...— начинает скрипеть Наталья Ивановна, но ее перебивает Катерина Алексеевна, входя поспешно.

— Карета подъехала!

Следом вбегает и Софья Петровна, радостно сообщая:

— Карета и сани... кажется даже двое саней...

— Ну, вот и карета! И слава богу!.. И мы готовы,— говорит Малиновская.

— Карета? А какая карета? — все-таки недовольно спрашивает Гончарова.

— Обыкновенно,— карета,— разводит руками Катерина Алексеевна.— Так мне передали, а я вам.

А Софья Петровна подхватывает поспешно.

— И сани тоже должно быть... обыкновенные...

— Как же мы в одной карете поместимся все? — недоумевает Екатерина.

— Не знаю уж... А сани?— считает всех в комнате глазами Катерина Алексеевна.

— Двое саней! Двое, а не одни,— напоминает Софья Петровна.

— Ну, значит, мы сейчас и выходить можем...— решает Малиновская.

В это время за дверью мужские голоса и среди них отчетливый голос Пушкина:

— Ничего, ничего, братец, мне можно!

— Пушкин! — вскрикивает Александра.

Дверь отворяет Пушкин в шубе и входит, держа в руке цилиндр:

— Как Натали? Готова? Не отложили тут свадьбу до Красной горки?

— Как же вы осмелились входить к невесте, когда-а...— негодует Наталья Ивановна, но Пушкин перебивает весело:

— Ничего, ничего!.. Вот осмелился и все! Натали! Чудесно! Я прискакал в карете, вы можете садиться и ехать! Я уже был в церкви, там все готово: и священник, и протодьякон, и певчие, и полицейские, и уже тьма народа!.. Все хорошо, все прекрасно, Натали! Через час мы будем муж и жена, собирайтесь.

Он делает небольшую паузу и заканчивает далеко уже не так весело, как начал:

— Итак... совершилось!

Крым, Алушта
Ноябрь 1933 г.

$10 = \infty$